E 43 / 199

19
370

А. Р. ВИЛЬЯМС

ОЧЕРКИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва—Ленинград.

МЕМУАРЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

Авдеев, Н.—Революция 1917 г. Ч. I. Ц. 60 к., Ч. II. Ц. 3 р.

Бекстон, Ч. Р.—В русской деревне. Перевод с английск. С. В. Антропова. С предислов. Ф. Ротштейна. Ц. 35 к.

Бисмарк, О.—Вильгельм II. Воспоминания и мысли Предисл. М. Павловича. Ц. 75 к.

Белов, В.—Белое похмелье. Русская эмиграция на распутьи. Ц. 60 к.

Его же.—Белая печать Ц. 30 к.

Большевистские тайные типографии в Москве и Московской области. Ц. 50 к.

Борьба за Петроград. 15 октября—6 июля 1919 г. Ц. 2 р.

Бройде, С.—В Советской тюрьме. Ц. 80 к.

Вильсон, Вудро. — Мировая война. Версальский мир. Пред. М. Павловича. Ц. 1 р. 50 к.

Виллиам, Г.—Распад добровольцев („Побежденные"). Из материалов белогвар[illegible]ской печати. Ц. 45 к.

Витте, С[illegible]оспоминания. Царствование [illegible]ая II. Т. I. Ц. 2 р. 25 к. Т. II. [illegible] 25 к.

Восстан[illegible]а броненосце „Князь Потемк[illegible]аврический". Воспоминания, м[illegible]ериалы и документы. Под ред[illegible]о вступительн. статьей В. И. [illegible]ого. Ц. 3 р.

Гуль, Р. [illegible]яной поход (с Корниловым) [illegible]дисловие Н. Л. Мещерякова. [illegible]5 к.

Двадцат[illegible]ет рабочей организации [illegible]а: Муром, Кулебаки, Выкс[illegible] р. 25 к.

Дневни[illegible]. Кропоткина. Предислови[illegible]. А. Борового. С портретом [illegible]ткина. Ц. 1 р. 50 к.

Курло[illegible]—Конец русского царизма. Воспо[illegible]ния бывшего командира корпу[illegible]андармов. Ц. 75 к.

Лелеви[illegible].—В дни Самарской учредилки [illegible]6 к.

Лепеш[illegible]ий, П.—На повороте. Воспом[illegible]ния. Ц. 45 к.

Лемке, [illegible]х.—Политические процессы в России 186[illegible] ным документам)

Лопухин, А. А.—Отрывки из воспоминаний (по поводу воспоминаний С. Ю. Витте). Пред. М. Н. Покровского. Ц. 40 к.

Людендорф, Э.—Мои воспоминания о войне 1914—1918 г.г. Перев. с 5-го нем. издан. под ред. Свечина. Т. I. Ц. 4 р. 50 к.

Максаков, В., и Нелидов, М.—Хроника революции. Вып. 1. Ц. 70 к.

Мартынов, А.—Мои украинские впечатления и размышления. Ц. 20 к.

Материалы для биографии М. Бакунина. По архивным делам б.б. III Отделения и Морск. Министерства. Редакция и примечания В. Полонского. Ц. 3 руб.

Мемуары германск. кронпринца. Предисловие В. Кряжина. Ц. 75 к.

Моризэ, А.—У Ленина и Троцкого. Ц. 70 к.

Ногин, В.—На полюсе холода. Ц. 80 к.

Носке, Г.—Записки о германской революции. От восстания в Киле до заговора Каппа. Ц. 60 к.

Ольминский, М.—Три года в одиночной тюрьме. Ц. 60 к.

Его же.—Из прошлого. Сборник статей. Ц. 25 к.

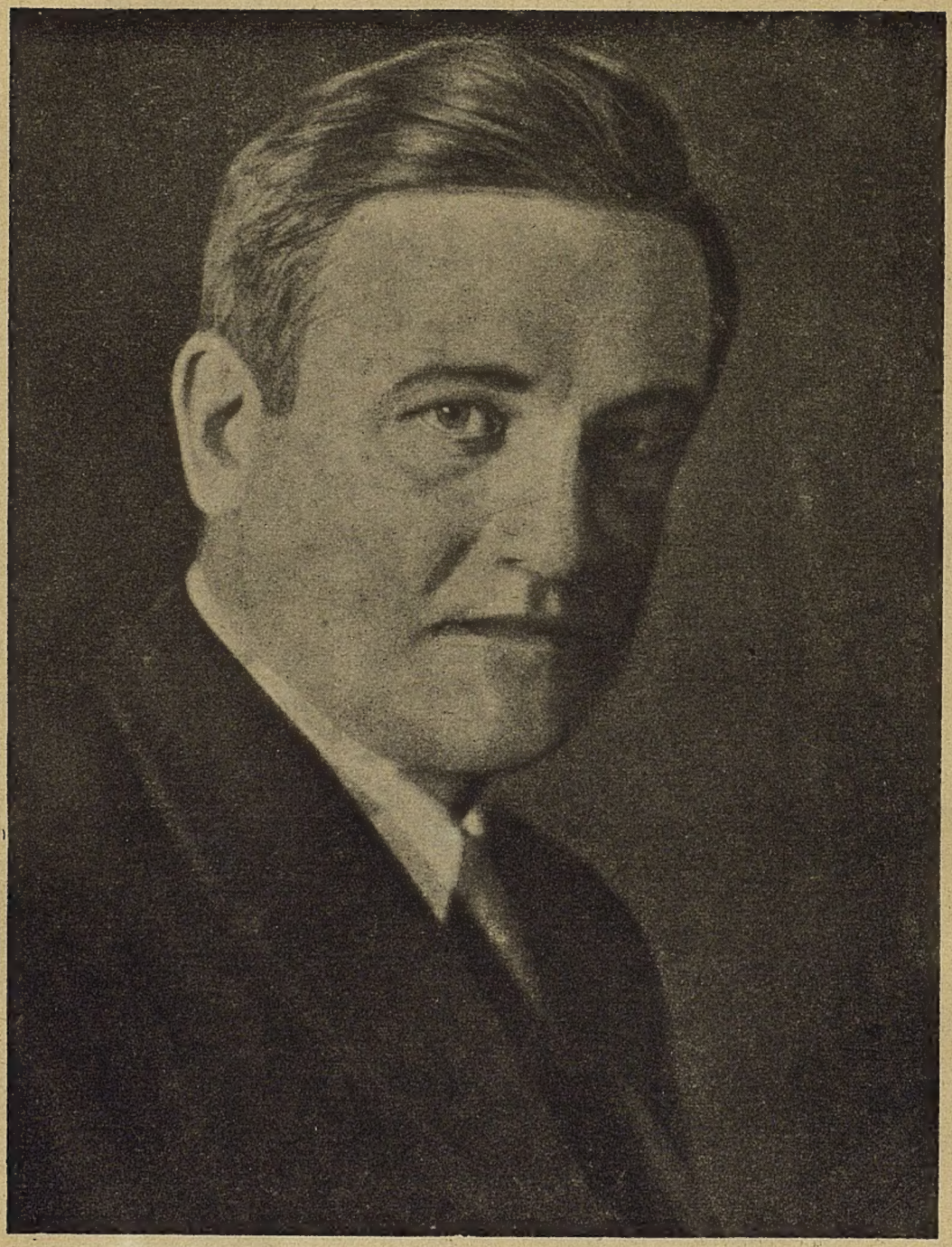
Палеолог, М.—Царская Россия. Перевод и предисловие М. Павловича. Ц. 1 р. 60 к.

Памятники агитационной литературы Российской соц.-дем. раб. партии. Т. VI (1914—1917). Период войны. Вып. 1. Прокламации 1914 г. Ц. 2 руб.

Переписка Николая и Ал—ры Романовых. 1914—1915 г.г. Т. III. С предисловием М. Н. Покровского. Ц. 5 руб.

Победоносцев, К. П. и его корреспонденты. Письма и записки с предислов. М. Н. Покровского (Труды Государствен. Р[illegible]нц. Музея). Т. I. Полутомы I и [illegible] за 2 полутома 9 руб.

Пурталес, граф [illegible]жду миром и войной. Мои пос[illegible]ие переговоры в Петербурге в 1914 г. Пер. с нем. [illegible] Алексеева. Пр[illegible]л. В. Кряжина.



Альберт Рис. Вилльямс.

Е43 199
Н
Д5
450
Е467
2343
III Р5
7653

АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС

ОЧЕРКИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

С 9 ФОТОГРАФИЧЕСКИМИ СНИМКАМИ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

V
~~сф. 2256~~

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
№ _____ г.

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА КРАСН. ПРОФЕССУРЫ
№ 124466/8

Нижгублит № 274. Гиз № 5534. Тираж—5000.

Н.-Новгород. Нижполиграф. 1924.

ПОСВЯЩАЕТСЯ

РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ РОССИИ, ПАВШИМ ПРИ ЗАЩИТЕ РЕВОЛЮЦИИ

«ВЫ НАЧАЛИ БОРЬБУ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ БОГАТСТВА, ВЛАСТЬ И ЗНАНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЛИ НЕМНОГИМ, И ВЫ СЛАВНО ПАЛИ ЗА ТО, ЧТОБЫ БОГАТСТВА, ВЛАСТЬ И ЗНАНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЛИ ВСЕМ».

Часть I

ТВОРЦЫ РЕВОЛЮЦИИ

среди рабочих, крестьян и бойцов

ГЛАВА I.

БОЛЬШЕВИКИ И ГОРОД.

Белою ночью в начале июня 1917 года я впервые приехал в Петроград,—город, лежащий почти у полярного круга. Хотя была полночь, но широкие скверы и проспекты, облитые мягким призрачным светом северной ночи, приводили в восхищение.

Миновав синеглавые, столь странные для меня церкви и покрытый серебристою рябью Екатерининский канал, мы ехали вдоль Невы, пока за рекой не вырос перед нами, словно золотая игла, блестящий шпиль Петропавловского собора. Затем мы проехали мимо Зимнего дворца, мимо отполированного Исаакиевского собора и бесчисленных колонн и статуй в память прежних царей.

Но все это были памятники правителям прошлого. Они не привлекали моего внимания, потому что я интересовался лишь правителями настоящего. Я хотел услышать речи знаменитого Керенского, бывшего тогда на зените своего кратковременного могущества. Я искал встреч с министрами временного правительства. И я видел многих из них, слушал их речи и беседовал с ними. Они были люди способные, любезные, красноречивые. Но я чувствовал, что они не были настоящими представителями масс, что они были лишь «калифами на час».

Инстинктивно я искал правителей будущего, людей, избранных в Совет прямо из окопов, из заводов, из деревни. Эти Советы народились в каждой армии, в каждом городе, в каждой деревне России, т. е. почти в шестой части мира. Эти местные Советы посылали теперь своих делегатов на первый Всероссийский с'езд Советов в Петрограде.

Первый Всероссийский С'езд Советов.

Я нашел Совет на заседании в Кадетском корпусе. Доска, на которой записано, что «Его Императорское Величество, Николай Второй, осчастливил это место своим посещением 28 января 1916 года» еще висела на ее стенах—единственная реликвия блестящего прошлого.

Офицеры, в расшитых золотом мундирах, улыбающиеся придворные и лакеи выметены из этих зал. Его Императорского Величества—царя, нет. Ее Республиканское Величество—Революция царит теперь здесь, приветствуемая сотнями одетых в черные блузы и хаки делегатов.

Здесь были люди, пришедшие с разных концов земли. Из морозных арктических областей, из знойного Туркестана собрались они—и косоглазые татары, и светловолосые казаки, великороссы и украинцы, поляки, литовцы и латыши—все племена, наречия и одежды. Здесь были изнуренные страшным трудом, в шрамах делегаты из шахт, из кузниц, из деревни, утомленные в битвах солдаты из окопов и покрытые бронзовым загаром матросы пяти флотов России. Здесь были мартовские революционеры, бесцветные и смирные до мартовской бури, снесшей царя с его трона, но теперь подкрашенные красною краскою революции и называющие себя социалистами. Здесь были ветераны революции, верные своему долгу в течение многих лет голода, ссылки в Сибири, истомленные и закаленные в страданиях.

Чхеидзе, председатель с'езда Советов, спросил меня, зачем я приехал в Россию. «Официально как журналист,—ответил я,—но настоящая цель приезда—революция. Она привлекает неотразимо меня сюда, подобно магниту. Я здесь, потому что не могу быть нигде иначе».

Он предложил мне обратиться с речью к с'езду. Советские «Известия» от 8-го июля 1917 года передают мои слова так:

«Товарищи! я приношу вам привет от социалистов Америки. Мы здесь не для того, чтобы учить вас, как произвести революцию. Скорее мы пришли сюда для того, чтобы взять у вас урок и высказать, как высоко ценим вас за столь удачное ее осуществление».

Мрачная туча отчаяния и насилия, нависшая над человечеством, угрожала загасить факел цивилизации в потоках крови.

Но вы восстали, товарищи, и факел зажегся снова. Вы воскресили во всех сердцах повсюду новую веру в свободу.

Равенство, братство, демократия—вот великие, прекрасные слова. Но для миллионов безработных они только слова. Для 160.000 голодных детей в Нью-Иорке они лишь пустые слова. Для эксплоатируемых во Франции и Англии они слова издевательства. Ваша задача превратить эти слова в действительность.

Вы совершили политическую революцию. Свободные от угроз германского милитаризма, вы должны поставить себе ближайшею задачей социальную революцию. Тогда рабочие всего мира не будут более обращать взоры на Запад, но обратят их на Восток—к великой России, сюда на Марсово поле, где лежат первые мученики революции.

Да здравствует свободная Россия! Да здравствует революция! Да здравствует всеобщий мир!».

В своем ответе Чхеидзе обратился к рабочим всего мира с призывом оказать давление на свои правительства и заставить их прекратить «ужасную бойню, унижающую человечество и омрачающую великие дни рождения русской свободы».

Буря рукоплесканий, и с'езд переходит к порядку дня: Украина, народное образование, обеспечение вдов и сирот войны, снабжение фронта, восстановление железнодорожного сообщения и т. д. Все это должно было выполнить Временное Правительство. Но это правительство было непрочно и некомпетентно. Его министры были краснобаи, охотники до споров, на потеху дипломатов соперничавшие друг с другом своими проектами. Но кто-нибудь должен же исполнять трудную работу. Ввиду их неспособности это перешло в руки Советов, вышедших из рядов народа.

Выступление большевиков.

На первом с'езде Советов преобладала интеллигенция—врачи, инженеры, журналисты. Они принадлежали к меньшевикам и социалистам-революционерам. На крайней левой сидело 107 представителей пролетариата—простые солдаты и рабочие. Они были настроены враждебно, тесно сплочены и произносили весьма серьезного характера речи. Над ними часто смеялись, их встречали диким гиканьем, и их резолюции всегда проваливались.

— Это большевики,—сообщил мне ядовито мой проводник-буржуа.

— Большею частью дураки, фанатики и германские агенты, и—все!—И ничего больше нельзя было узнать в отелях, салонах и дипломатических кругах.

К счастью, я отправился собирать сведения в другие места. Я поехал за ними в фабричные районы. В Нижнем я встретил механика Сартова, который пригласил меня к себе. Длинная винтовка стояла в углу лучшей его горницы.

— Каждый рабочий имеет теперь ружье,—пояснил Сартов.— Раньше мы употребляли его, сражаясь за царя,—ныне мы сражаемся с ним за себя.

В другом углу висела икона, и тусклое пламя лампады светилось перед нею.

— Моя жена все еще религиозна, — говорил Сартов в оправдание.

— Она верит в святых,—думает, что они спасут меня во время революции. Как будто святые станут помогать большевику!—засмеялся он.—Но, ей-богу! это не мешает. Святые чудные ребята! Нельзя сказать, на что они способны.

Семья улеглась на полу, настояв, чтобы я лег в постель, потому что я американец. В этой комнате я нашел другого американца. В мягком блеске лампады его лицо смотрело на меня со стены,—величавое, простое, суровое лицо Авраама Линкольна. Из хижины пионера в лесах Иллинойса он нашел путь в хижину этого рабочего на Волге. Через полстолетие и через полсвета пламя сердца Линкольна перекинулось в сердце русского рабочего, ощупью бредущего к свету. Как жена этого рабочего верила в св. Николая, великого чудотворца, так он сам благоговел перед Линкольном, великим освободителем. Он отвел портрету Линкольна почетное место в своем доме. И затем он проделал поразительную вещь. На отвороте сюртука Линкольна он прикрепил большой красный значек со словом «*большевик*».

О жизни Линкольна Сартов знал мало. Он знал только, что Линкольн боролся против несправедливости, что он освободил рабов, что его самого угнетали и преследовали. В глазах Сартова это серьезно роднило Линкольна с большевиками. И он счел своим прямым долгом украсить Линкольна этою красною эмблемою.

Я нашел, что заводы и бульвары были два разных мира. Особенно это различие замечалось в том, как произносилось слово «большевик». На бульварах оно произносилось с зубоскальством и проклятием; в устах рабочего оно получало выражение похвалы и уважения. Большевики не обращали внимания на буржуазию. Они были заняты раз'яснением своей программы рабочим. Эту программу я добыл впервые от делегатов, прибывших на с'езд Советов из русской армии во Франции.

«Наше требование состоит в том, чтобы продолжать не войну, а революцию»,—отвечали эти большевики.

— Зачем вы все говорите о революции?—спросил я, приняв на себя роль защитника дьявола.—Ведь вы же получили свою революцию? Ведь так? Царя и его шайки нет. Этого ведь вы и добивались в течение последнего столетия? Не правда ли?

— Да,—возражали они,—царя нет, но революция только что началась. Ниспровержение царя не более как инцидент. Рабочие не для того вырвали власть из рук господствующего класса, аристократии, чтобы вручить ее другому господствующему классу—буржуазии. Не в том дело, как ее называть; рабство ведь остается то же самое.

Я сказал, что весь мир полагает, что задача России теперь создать такую же республику, как во Франции или в Америке, установить в России государственные учреждения Запада.

— Но это как раз то, чего мы не хотим,—отвечали они.—Мы не очень-то преклоняемся перед вашими учреждениями или правительствами. Мы знаем, что и у вас существуют бедность, безработица и притеснения. С одной стороны трущобы, с другой—дворцы. С одной—капиталисты, борющиеся с рабочими при помощи локаутов, понижения платы и лживой прессы. С другой—рабочие, отвечающие забастовками, бойкотом, бомбами. Мы хотим прекратить эту классовую борьбу. Мы хотим положить конец бедности.

Только рабочие могут сделать это, введя коммунистический строй. Вот что мы намерены установить в России.

— Другими словами,—говорил я,—вы хотите обойти законы эволюции. Вы ожидаете, что каким-то чудом, внезапно, отсталая земледельческая страна превратится в высоко развитое госу-

дарство с коммунистическим строем. Вы собираетесь перепрыгнуть из восемнадцатого века в двадцать второй.

— Мы хотим иметь новый социальный порядок,—возражают они,—и вовсе не рассчитываем на прыжки или чародейство. Мы рассчитываем только на об'единенную силу рабочих и крестьян.

— Но где же головы, способные провести это в жизнь? Подумайте о колоссальном невежестве масс.

— Умы!—восклицали они горячо.—Вы думаете, что мы преклоняемся перед умом наших «мыслителей»? Чтó может быть бессмысленнее, глупее и преступнее этой войны? А кто виновники ее? Не рабочие, но правящие классы всех стран. Конечно, невежество и неопытность рабочих и крестьян не натворили бы такой кутерьмы, какую натворили генералы и государственные люди со всем их умом и культурою. Мы верим в массы, верим в их творческую силу. Все равно рано или поздно мы должны как-нибудь совершить социальную революцию.

— Но почему?—спрашивал я.

— Потому, что это следующий шаг в эволюции человечества. Когда-то существовало рабство. Его сменил феодализм. В свою очередь феодализм уступил дорогу капитализму. А теперь и капитализм должен сойти со сцены. Он сослужил свою службу, создав возможность производства в самом широком масштабе, охватывающую весь земной шар, промышленность. Но теперь он должен уйти. Он воспитан империализмом и войною, он душит рабочих, разрушает цивилизацию. В свою очередь он должен уступить место следующей фазе—коммунистическому строю. Историческая миссия рабочего класса состоит в создании нового социального строя. Хотя Россия первобытная отсталая страна, но на нашу долю выпала задача начать социальную революцию. Дело рабочих других стран—продолжать ее.

Какая самоуверенность—перестроить мир заново!

Неудивительно, что идеи Джэмса Дункана, приехавшего в Россию с миссиею Рута, показались пошлыми, когда он выступил со своею скучною речью о профессиональных союзах, союзных марках, восьмичасовом рабочем дне. Его слушатели забавлялись или зевали. На следующий день одна газета дала такой отчет об его двухчасовой речи: «Вчера вице-президент Американской Федера-

ции Труда обратился с речью к Советам. Переплывая Тихий океан, он, очевидно, заготовил две речи: одну—для русского народа, другую—для невежественных эскимосов. Прошлую ночь он несомненно думал, что говорит перед эскимосами».

Но выставить широкую революционную программу было одно, заставить же нацию в 160.000.000 человек принять ее—совершенно другое, особенно, если принять во внимание, что партия большевиков насчитывала тогда не более 150.000 человек.

Большевики—воспитанники Америки.

Многие факторы, однако, содействовали тому, чтобы идеи большевиков пользовались обаянием в народной среде. Во-первых, большевики поняли народ. Их влияние было сильно среди более развитых солдат, в особенности среди матросов, и охватывало широкие массы ремесленников и городских рабочих. Выйдя из народной среды, они говорили народным языком, разделяли печали народов, думали его думами.

Не вполне точно будет сказать, что большевики поняли народ. Они сами были народом; поэтому им верили. Русские рабочие, которых обманывали высшие классы, питали доверие только к своим.

Такой комичный случай произошел с одним моим другом, Краснощековым, который был впоследствии министром-президентом Дальневосточной Республики. Окончив рабочий институт в Чикаго, он выступил борцом за рабочее дело. Способный, красноречивый, он был избран городским головою в Николаевске. Буржуазная газета немедленно повела против него войну, заявляя, что он «иммигрант-подстрекатель».

— Граждане великой России,—спрашивала газета,—разве вам не стыдно, что вами правит бывший носильщик, чистильщик окон в Чикаго?

Краснощеков написал горячее возражение, указывая на свое звание адвоката и учителя в Америке. По дороге в редакцию он со своею статьею завернул в Совет, интересуясь узнать, насколько эти инсинуации могут повредить ему в глазах рабочих.

— Товарищ Краснощеков!—воскликнул кто-то, как только он открыл дверь.—Все встали, радостно крича: «Наш! наш!»—и пожимали ему руки.

— Мы читали уже газету, товарищ. Это нас всех обрадовало. Вы всегда нравились нам, хотя мы думали, что вы буржуа. Теперь мы узнали, что вы из наших, настоящий рабочий—и мы полюбили вас. Рассчитывайте на нас во всем!

Девяносто шесть процентов в партии большевиков были рабочие. Конечно, партия имела и свою интеллигенцию, взятую далеко не «прямо от сохи». Ленин и Троцкий жили достаточно близко к стану голодных, чтобы знать думы бедняка.

Большевики были большею частью молодежь, не боявшаяся ответственности и смерти *); в полную противоположность высшим классам, они не боялись работы.

Многие из них стали моими друзьями, особенно возвратившиеся из изгнания с волною американских эмигрантов.

Таким был Янышев, буквально всемирный рабочий. Десять лет назад он был вынужден покинуть Россию за агитацию среди крестьян против царя. Он жил, как водяная крыса, на доках в Гамбурге, копал каменный уголь в австрийских шахтах и отливал сталь во французских литейных. В Америке он дубил кожу, белил ткани и не раз пострадал из-за забастовок. Его бродяжничество дало ему знание четырех языков и горячую веру в большевизм. Из крестьянина он превратился в заводского пролетария.

Какой-то сатирик определил пролетария как «болтуна-рабочего». Янышев не был разговорчив по натуре. Но теперь он должен был говорить. Крик миллионов его товарищей-рабочих, жаждавших просвещения, вложил красноречие в его уста, и на заводах и в шахтах он говорил так, как не мог говорить интеллигент. Таким образом он трудился день и ночь. В середине лета он пригласил меня на памятную мне поездку в деревню.

Другой товарищ был Восков, бывший деятель нью-иоркского союза плотников, теперь состоявший членом заводского комитета Сестрорецкого ружейного завода. Был еще Володарский, работавший, как каторжный, для торжества советской идеи и безумно счастливый этим. Однажды он сказал мне: «У меня теперь больше настоящей радости за эти пять недель, чем у пятидесяти человек за всю их жизнь». Помню еще Нейбута с его связкою книг, с увлечением читавшего английскую книгу «Войны стали—и зо-

*) Приложение I. Смерть Красного полка.

лота» Брэйльсфорда. В большевистскую пропаганду эти эмигранты внесли живость и методы Запада. В русском языке нет слова для перевода английского «efficient». Эти молодые фанатики были удивительно исполнены «efficieny» и энергии.

Центром деятельности большевиков был Петроград. Какая тонкая ирония судьбы! Город этот был гордостью и славою царя Петра. Он нашел здесь болото и оставил блестящую столицу. Чтобы заложить фундамент, он приказал погрузить в эти топи леса деревьев и целые каменоломни. Это—колоссальный памятник железной воли Петра. В то же время это памятник колоссальной жестокости, потому что город построен не только на миллионах свай, но и на миллионах человеческих костей.

Как скот рабочих сгоняли толпами в эти болота, и они погибали от холода, голода и цынги. Как только одних поглощала земля, на их место пригоняли крепостных в еще большем числе.

Они рыли землю голыми руками и палками, нося ее в шайках и передниках. Под удары молота, хлопанье кнутов и стоны умирающих Петроград воздвигся, подобно пирамидам, из слез и страданий рабов.

Теперь потомки этих рабов восстали. Петроград стал во главе революции. Ежедневно он высылал миссионеров в долгие крестовые походы. Ежедневно он выбрасывает кипы и целые повозки напечатанного евангелия большевиков. В июне Петроград выпускал «Правду», «Солдата», «Деревенскую Бедноту» в миллионах экземпляров.—«Все делается на германские деньги»,—говорили союзнические наблюдатели, как страусы, пряча в бульварных кафе свои головы и будучи уверены, что им верят. Поверни они за угол, они могли бы видеть длинные вереницы людей, проходящих мимо киоска, где продают газеты, при чем каждый клал туда свою лепту—десять копеек, десять рублей, может быть, сотню. Это были рабочие, солдаты, даже крестьяне, приносившие свою лепту в пользу большевистской печати.

Чем больше рос успех большевиков, тем громче раздавались крики ярости из лагеря противников. Буржуазная пресса, расхваливая рассудительность и умеренность других партий, призывала железный кулак на головы большевиков. В то время, как «бабушке» и Керенскому были отведены царские покои в Зимнем дворце, большевиков бросали в тюрьму.

В прошлом все партии страдали за свои принципы. Теперь же страдали главным образом большевики. Они стали мучениками нынешнего дня. Это подняло их престиж. Преследование выдвинуло их. Массы, обратив внимание на доктрины большевиков, нашли в них чудесным образом родство со своими собственными стремлениями. Но не жертвы и не энтузиазм большевиков привели окончательно народ под их знамя. Более могущественные союзники работали вместе с ними. Голод был их главным союзником— тройной голод: стремление масс к хлебу, миру и земле.

В сельских Советах снова раздался прежний клич крестьян: «Земля принадлежит богу и народу». Городские рабочие откинули бога и выставили лозунг: «Заводы принадлежат рабочим». На фронте солдаты провозглашали: «Война затеяна чортом! Мы не хотим ничего делать на ней. Мы хотим мира».

Большое брожение шло в массах. Оно заставило их организовать крестьянские, заводские и фронтовые комитеты. Оно дало массам дар слова, так что Россия стала нациею с сотней миллионов ораторов. Оно бросило их на улицы, где они устраивали грандиозные демонстрации.

ГЛАВА II.

ПЕТРОГРАД ДЕМОНСТРИРУЕТ.

Весна и лето 1917 года представляли собой сплошной ряд демонстраций. Россия всегда этим отличалась. Но теперь процессии были больше, управляли ими не священники, а народ; вместо икон носили красные знамена, а вместо церковных песнопений звучали революционные песни.

Кто забудет Петроград, каким он был в день 1-го июля! Солдаты в темном и оливковом, кавалеристы в голубом и золоте, флотские матросы в белом, заводские рабочие в черных блузах, девушки в разноцветных жакетах — все двигалось волнами по главным улицам города. На каждом участнике процессии флажок, цветок, красная лента; красные платки на головах женщин, красные рубахи на мужчинах. Выше, подобные алой пене, сверкают и развеваются тысячи красных знамен.

Людская река текла и пела.

За три года до этого я видел германское войско, катившееся в долине Мейзы по направлению к Парижу. Утесы вторили эхом десятку тысяч здоровых германских глоток, распевавших «Deutschland über Alles», в то время как десяток тысяч сапог гремел по дороге. Это производило впечатление чего-то могущественного, но механического и, как всякий шаг этих серых колонн, совершалось по приказу свыше. Пение же в этих красных колоннах выливалось непринужденно из народной души.

Кто-нибудь из толпы затягивал революционный гимн, громкие голоса солдат подхватывали припев и сливались с жалобными женскими голосами; гимн рос, падал и замирал; затем снова пение раздавалось по всей линии, и стройно пела вся улица.

Итак, мимо златоглавого Исаакиевского собора и мимо магометанской мечети с ее минаретами тянулось шествие из людей всех вер и рас, огнем революции сплоченных теперь воедино. Тяжелая жизнь в шахтах, на заводах, в трущобах и окопах—все вылетело на время из головы. Они были счастливы и радовались этому дню, созданному самим народом.

Но в своей радости они не забывали и тех, кому были обязаны этим днем и кто, в цепях, окровавленный, тащился в ссылку и на смерть по равнинам Сибири. Совсем близко находились от них и мученики мартовской революции: тысяча их лежит в своих красных гробах на Марсовом поле. Воинственные звуки марсельезы сменялись торжественными аккордами похоронного марша. С заглушенным барабанным боем, с опущенными знаменами проходило шествие мимо длинной могилы—проходило с плачем или в молчании.

Инцидент, неважный сам по себе, но полный значения, нарушил порядок этого дня. Это было на Садовой, где я стоял с Александром Гомбергом, маленьким русско-американцем, другом и гидом многих американцев в дни революции. Красное знамя с надписью «Да здравствует временное правительство!» вызвало прилив ярости у матросов и рабочих. Они бросились срывать знамя, и во время суматохи кто-то крикнул: «казаки! казаки!».

Одно название этих старых врагов народа вселило ужас в толпу. С побледневшими лицами люди шарахнулись в паническом страхе, как стадо овец, топча упавших и визжа, как безумные. К счастью, все оказалось ложною тревогою. Ряды выстроились вновь, и с песнями и аплодисментами шествие двинулось дальше.

Но эта процессия выражала более, чем вспышку душевного волнения. Было что-то глубоко-пророческое в лозунгах знамен: «Заводы рабочим! Земля крестьянам! Всеобщий мир! Долой войну! Долой тайные договоры! Долой капиталистических министров!».

В них заключалась вся программа большевиков, вложенная в эти массовые лозунги. А этих флагов с надписями были целые тысячи, так много, что сами большевики были поражены. И флаги являлись сигналами, предвестниками наступления грозной, всесокрушающей бури. Все могли видеть и видели это за исключением разве посланных в Россию и назначенных специально для то-

го, чтобы видеть,—вроде миссии Рута, например. Эти господа находились в революционной России, но очень далеко от революции. Как говорится в русской басне: «слона-то я и не приметил!».

В этот день, 1-го июля, американцы были приглашены на особое богослужение в Казанском соборе. В церкви они преклоняли колена и получали благословение священников, в то время как снаружи улицы оглашались песнями и рукоплесканиями бесконечной процессии возбужденного народа. Слепцы! они не видели, что в этот день истинная вера была не у молящихся внутри собора, но у толпы снаружи.

И все-таки они были не более слепы, чем те дипломаты, которые приветствовали первые восторженные отчеты о посещении Керенским западной армии. Поездка эта, как и судьба самого премьера, имевшая поразительный успех сначала, закончилась трагическим фиаско. Поездка была причиною гибели 30.000 русских, развала дисциплины в армии, ярости народа, ускорения падения кабинета и, как отзвук несчастья в Петрограде, вооруженного восстания 3/16 июля.

Вооруженная демонстрация.

День 1-го июля был лишь предостережением против грядущей бури. И 16-го июля буря яростно разразилась. Сначала появились длинные вереницы пожилых солдат из крестьян с плакатами: «Отпустите 40-летних домой жать хлеб». Тогда казармы, ночлежки и заводы извергли потоки вооруженных людей, устремившихся к Таврическому дворцу и в течение двух ночей и одного дня кричавших у его ворот. Бронированные автомобили с завывающими гудками и с красными флагами, развевающимися над их башенками, мчались взад и вперед по улицам. Моторные платформы, битком набитые солдатами с торчащими во все стороны штыками, носились, как взбесившиеся исполинские дикобразы. Распростершись во всю длину, на кранцах платформы с ружьями, высовывающимися из-за фонарей, лежали солдаты, зорко высматривая провокаторов. Этот прорвавшийся поток был сильнее, чем та река, что протекала по этим улицам 1-го июля; в нем замечалось больше злобы, потому что он отсвечивал сталью и извергал проклятья. Это было стихийное возмущение людей против их правителей—безобразное, безрассудное, свирепое.

С черным знаменем шла толпа анархистов с портным Ярчуком во главе. На нем был отпечаток изнурительного труда: постоянное корпенье над иглою остановило его рост. Теперь вместо иглы он вооружился ружьем,—символом освобождения от рабства иглы.

Гомберг спросил его: «Какие ваши политические требования?».

— Наши политические требования...—замялся Ярчук.

— Послать в преисподнюю капиталистов,—вмешался дюжий матрос.—А другое наше политическое требование: послать к черту войну и весь их проклятый кабинет.

В переулке стоял автомобиль, и дула двух пулеметов высовывались из его окна. В ответ на наш вопрос, шоффер указал на знамя и прочел: «Долой капиталистических министров».

— Нам надоело умолять их не морить голодом и не убивать народ,—об'яснял он.—Когда мы говорим, они не хотят слушать. Но подождите, пока не заговорят эти две собачки!—Он нежно похлопал по пулемету.—Небось тогда послушают!

Толпа с напряженными нервами, с оружием в руках и с такою бурею в душе не нуждалась в провокации, хотя провокаторы были везде. Черносотенные агенты с усердием предавались своему гнусному делу, возбуждая к мятежу и погромам. Они освободили из Крестов преступников для того, чтобы те устраивали погромы и грабежи. Они надеялись, что при ожидаемых беспорядках революция будет разбита, и царю будет возвращен его престол. В некоторых местах удалось вызвать ужасные избиения.

В момент особенного напряжения в тесной толпе у Таврического дворца был произведен провокаторский выстрел. За этим выстрелом последовала сотня других, со всех сторон загремели выстрелы—стреляли в упор друг в друга. Толпа с воплями шарахнулась к колоннам, отхлынула назад, и люди плашмя попадали на землю. Когда огонь прекратился, шестьдесят человек уже не могли более подняться. Во время этой бойни на расстоянии двух кварталов военный оркестр наигрывал «Марсельезу».

Уличная схватка вызывает панику. Ночью, когда пули сыпались из скрытых засад, с крыш сверху, из подвалов снизу, посылаемые залпами невидимым врагом и друзьями в друзей, толпа металась в паническом страхе взад и вперед, избегая града пуль на одной улице с тем, чтобы попасть под свинцовый ливень на другой.

Три раза в эту ночь мои ноги скользили в крови на мостовой. На Невском в глаза бросались следы разбитых окон и разграбленных лавок. Борьба разросталась из мелких стычек с гнездами провокаторов до целого сражения на Литейном, во время которого 12 казачьих лошадей остались на месте на булыжной мостовой. Над этими лошадьми стоял толстый извозчик со слезами на глазах. Во время революции еще можно примириться с тем, что 56 человек убито и 650 ранено, но потеря 12 хороших лошадей слишком чувствительна для сердца извозчика.

Большевики руководят восстанием.

Только большой опыт Петрограда в устройстве баррикад и в уличных сражениях, а также прирожденный здравый смысл народа препятствовали тому, чтобы стычки были еще кровопролитнее. Беспорядочные массы восставших подпали под влияние организованной силы из десятков тысяч рабочих, созданной распорядительностью партии большевиков. Большевики ясно видели, что это восстание было самопроизвольным и стихийным явлением. Они видели, что возмущение разрастается со страшною, но в то же время и слепою силою. И большевики решили разумно использовать эту силу и предоставить ее в распоряжение Центрального Исполнительного Комитета Советов.

Комитет этот состоял из 200 человек, избранных Первым Всероссийским С'ездом Советов перед его закрытием. Он перманентно заседал в Таврическом дворце, и весь народ добивался его утверждения властью. Одни большевики имели влияние на народные массы. Все партии умоляли их воспользоваться этим влиянием. Поместив своих ораторов в центральной галлерее дворца, они встречали каждый полк и каждую делегацию краткою речью.

С нашего удобного места мы могли наблюдать море обращенных кверху лиц, на которых страх, надежда и гнев неясно читались в сумерках белой ночи; слышен был рев волнующейся на улице толпы, встречавшей криками «ура» бронированные автомобили; прожекторы автомобилей, отбрасывая свет на оратора, рисовали на стене дворца его силуэт в виде гигантской черной фигуры. Каждый жест, увеличенный вдесятеро, передавался в виде колеблющейся тени на белом фасаде.

«Товарищи,—говорил этот великан-большевик,—вы хотите революционного образа действий. Единственный путь к этому лежит через революционное правительство. Правительство Керенского революционно лишь на словах. Оно обещает землю, но земля все еще принадлежит помещикам. Оно обещает хлеб, но хлеб все еще в руках спекулянтов. Оно обещает добиться от союзников об'яснения цели войны, но союзники просто говорят нам, чтобы мы продолжали сражаться.

«В министерстве обостряется непримиримый конфликт между социалистами и буржуазными министрами. В результате—мертвая точка, и не сделано ничего.

«Вы, жители Петрограда, пришли сюда к Исполнительному Комитету Совета и говорите: «будьте правительством! Вот штыки, которые поддержат вас». Вы хотите, чтобы Советы стали правительством. Этого хотим и мы, большевики. Но мы помним, что Петроград еще не вся Россия. Поэтому мы просим, чтобы Центральный Исполнительный Комитет созвал делегатов со всей России. Этот новый с'езд должен об'явить Совет российским правительством»..

Каждая сменявшая одна другую толпа встречала такое заявление рукоплесканиями и громкими криками: «Долой Керенского! Долой буржуазное правительство! Вся власть Советам!».

«Избегайте насилия и кровопролития!»—таково было прощальное напутствие каждой группе.—«Не слушайтесь провокаторов. Не радуйте врагов истреблением друг друга. Вы достаточно выразили свою мощь. Теперь идите спокойно домой. Когда понадобится ваша сила, мы вас позовем».

В волнующемся потоке перемешались анархисты, черносотенцы, германские шпионы и те неустойчивые элементы, которые всегда присоединяются к той стороне, на которой всего больше пулеметов. Одно было ясно большевикам: революционно-настроенные рабочие и солдаты Петрограда были в подавляющем большинстве *против* Временного Правительства и за Советы. Они хотели, чтобы Совет стал правительством. Но большевики опасались, что этот шаг будет преждевременным. Как говорили они: «Петроград еще не вся Россия, другие города и армия на фронте, может быть еще не созрели для столь решительного шага. Только представители Советов всей России могут решить этот вопрос».

В Таврическом дворце большевики старались убедить членов Исполнительного Комитета созвать другой Всероссийский с'езд. За стенами дворца они прилагали все усилия успокоить и укротить взволнованные массы—задача, требовавшая напряжения всего их ума и средств.

Лозунг матросов—«Вся власть Советам».

Некоторые группы приходили в Таврический дворец в весьма воинственном настроении. Особенно озлобленными оказались кронштадтские матросы, приплывшие на барках отрядом в восемь тысяч человек. Двое из их числа были убиты по дороге. Это была далеко не праздничная прогулка, и у них не было намерения лишь поглазеть на стены дворца, наполнив двор шумом болтовни, а затем повернуться и уйти домой.

К ним вышел Чернов, министр земледелия. Он воспользовался в качестве кафедры крышею кареты.

— Я пришел сказать вам, что три буржуазных министра вышли в отставку. Теперь мы глядим на будущее с большой надеждой. Вот законы, которые дают землю крестьянам.

— Ладно,—кричали слушатели,—но вступают ли эти законы немедленно в силу?

— В возможно более близком будущем,—ответил министр.

— Скоро! знаем мы это «скоро»,—насмехались над ним матросы.—Нет! нет! мы хотим этого теперь же. Вся земля крестьянам теперь же. Чем же вы были заняты все эти недели?

— Я не отвечаю пред вами за мои поступки,—крикнул Чернов очень гневным тоном.—Не вы назначали меня министром. Меня назначил Крестьянский Совет. Ему одному я дам отчет.

Столь грубый прием вызвал со стороны матросов бурю насмешек. Раздались крики: «Арестовать Чернова! Арестовать его».

Дюжина рук схватила под мышки и стащила Чернова. Другие потянули его обратно. В пылу борьбы, друзья и враги порвали на нем пиджак, и министр был отброшен в сторону. Подоспевший Троцкий помог его освобождению.

Между тем Саакьян взобрался на карету. Он старался овладеть вниманием бушевавшей толпы.

— Слушайте!—кричал он. — Знаете ли вы, кто говорит с вами?

— Нет,—отозвался чей-то голос,—и знать не хотим.

— Человек, говорящий теперь с вами,—стоял на своем Саакьян,—заместитель председателя Центрального Исполнительного Комитета Первого С'езда Советов Солдатских и Крестьянских Депутатов.

Столь внушительный титул вместо того, чтобы произвести впечатление на толпу и успокоить ее, лишь усилил смех и крики: «долой его! долой!».

Но Саакьян задался целью укротить толпу, и поэтому он разразился залпом коротких резких фраз:

— Моя фамилия Саакьян. («Долой его!»)

— Моя партия—социалисты-революционеры. («Долой его!»)

— Официальная моя религия—армяно-грегорианская. («Долой его!»)

— Настоящая моя религия—социализм. («Долой его!»)

— Мои родные на войне, двое братьев убиты. (Голос: «Не мешало бы и третьего!»)

— Советую вам—доверьтесь нам, вашим вождям и лучшим друзьям. Прекратите эту глупую демонстрацию. Вы позорите себя, позорите революцию и причиняете зло России.

Матросы были страшно раз'ярены. Было идиотскою выходкою выпалить все это им в лицо. Весь сонм демонов был спущен. Снова Троцкий спешит на выручку. Он герой и кумир кронштадтских матросов и знает темперамент своих слушателей. Он знает также, что их уши не выносят порицаний.

— Матросы-революционеры, гордость и цвет революционной России!—начал он.—В этой борьбе за социальную революцию мы бьемся вместе. Вместе, товарищи, мы будем стучаться в двери этого дворца, пока идеалы, за которые проливалась наша кровь, не найдут себе выражения в конституции нашей страны. Тяжела и долга геройская борьба. Но ею мы завоюем свободную жизнь для свободных людей в великой свободной стране. Не правда ли, товарищи?

— Ты прав, Троцкий,—ревет толпа.

Троцкий хочет уйти.

— Но ты не сказал нам еще кой-чего,—кричат они. — Как вы разделаетесь с правительством?

Хотя это и неорганизованная толпа, любящая лесть, но она не так глупа, чтобы дать себя успокоить фразами, будь это фразы самого Троцкого.

— Я охрип,—жалуется он.—Рязанов вам об'яснит все.

— Нет, скажи ты!

Троцкий снова лезет на экипаж:

— Только Всероссийский С'езд может принять на себя полноту государственной власти. Рабочая секция решила созвать этот с'езд. Военная секция несомненно последует за нею, и в течение двух недель делегаты могут быть здесь.

— Две недели!—кричат они в изумлении.—Две недели очень долгий срок! Мы хотим этого немедленно!

Но Троцкий настаивает, и матросы соглашаются, крича: «Да здравствуют Советы и революция!».

Затем они мирно удаляются в убеждении, что второй всероссийский с'езд будет созван.

Этого-то именно не хотят вожаки Исполнительного Комитета. Они всею душою против того, чтобы Совет стал правительством. У них много причин для этого. Но главной причиной является страх перед массами, которые их выдвинули на столь высокий пост. Интеллигенция не доверяет массам, стоящим ниже ее. В то же время она переоценивает дарования и благие намерения стоящей выше ее крупной буржуазии. Они не хотят, чтобы власть перешла к Совету; они не намереваются созвать второй всероссийский с'езд, ни через две недели, ни через два месяца, ни когда бы то ни было. Но они боятся этой буйной толпы, ломящейся во двор и стучащей в двери. Их тактика состоит в успокоении черни, и они ищут помощи у большевиков. В то же время они ведут другую игру. Вместе с Временным Правительством они вызывают с фронта полки для усмирения мятежа и восстановления порядка в городе.

На третий день приходят войска: батальоны самокатчиков, резервные полки и затем длинные, мрачные ряды кавалеристов с блестящими на солнце остриями пик. Это казаки, старые враги революционеров, ужас рабочих и радость буржуазии.

Хорошо одетая толпа наполняет главные улицы, приветствуя казаков и крича: «Расстреляйте чернь! повесьте большевиков!».

Волна реакции прокатывается по городу. Восставшие полки обезоружены. Смертная казнь восстановлена, большевистские

газеты запрещены. Поддельные документы, доказывающие, что большевики—германские агенты, обнародованы в печати. Александров, царский прокурор, предает вождей большевизма суду, обвиняя их в государственной измене по статье 108 уголовного кодекса. Троцкий и Коллонтай брошены в тюрьму. Ленин и Зиновьев скрываются. Во всех частях города внезапные аресты, покушения и убийства рабочих.

Ранним утром 18-го июля я был внезапно разбужен пронзительными криками, донесшимися с Невского. Топот копыт сливался с выстрелами, с отчаянною мольбою о пощаде, проклятиями—сплошной, ужасный вой, от которого стынет кровь в жилах. Затем шум от падения тела, стоны умирающего человека и молчание. Вошедший офицер об'яснил, что схватили несколько рабочих, расклеивавших на Невском большевистские прокламации. Отряд казаков, избивая их нагайками и саблями, зарубил одного из них и оставил его мертвым на мостовой.

Такой оборот дел вызвал под'ем духа среди буржуазии. Заносчивость на непрочном фундаменте. Буржуазия не знает, что вопли убитого рабочего дойдут до отдаленных уголков России, призывая его товарищей к мести и оружию. В тот самый июльский день она приветствовала Волынский полк, вошедший в город в числе других войск для усмирения восстания, целью которого было предоставить всю власть Советам. Безумные приветствия! Эти люди не знают, что в ближайшем ноябре они увидят этот полк в первых рядах восставших, торжественно передающих всю власть Советам.

Черная тень реакции реет еще над ними. Но большевики выжидают свое время. Они чувствуют, что история на их стороне. Их идеи распространяются по деревням, во флоте и на фронте.

В те места держу я теперь свой путь.

ГЛАВА III.

АНТРАКТ В ДЕРЕВНЕ.

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России,
Там вековая тишина.

Мы жаждали вкусить этой тишины. Три месяца мы слышали рев революции. Я им пресытился, Янышев измучился. Его голос ослабел в беспрерывных выступлениях, и партия большевиков распорядилась дать ему десятидневный отдых. И вот мы отправились в волжский район, в село Спасское, откуда Янышев был выслан в 1907 году.

В один из августовских дней, далеко за полдень, мы сошли с московского поезда и направились по дороге между полей. Щедро пригретые солнцем за последние недели лета поля превратились в широкое волнующееся море пожелтевших колосьев, испещренные там и сям зелеными островами. То были осененные тенистыми деревьями села Владимирской губернии. С под'ема дороги мы могли насчитать шестнадцать сел; в каждом большая белая церковь с блестящими куполами. Был праздник, и колокола оглашали поля звоном, а солнце заливало их своими лучами.

После города для меня это была страна мира и спокойствия. Но для Янышева она была страною мучительных воспоминаний. После десятилетних скитаний в изгнании он возвращался теперь на родину.

— Вот в той деревне,—говорил он, указывая на запад,— мой отец был учителем. Народу нравилось его учение, но однажды пришли жандармы, закрыли школу и увели его. А в той деревне, подальше, жила Вера; она была миловидна, очень добра, и я

любил ее. Но я был тогда очень застенчив, не посмел признаться в своей любви, а теперь уже поздно. Она в Сибири. Вон в том лесу некоторые из нас собирались частенько побеседовать о революции. Но раз ночью прискакали казаки. И на том мосту они убили Егора, храбрейшего из наших товарищей.

Да, возвращение домой из ссылки не было радостным. Каждый поворот дороги вызывал какое-нибудь воспоминание. И платок часто появлялся в руках Янышева, уверявшего, что это лишь для того, чтобы отереть пот с лица.

Проходя село Спасское, мы увидели старого крестьянина в ярко-синей рубахе, сидящего на скамье перед своею избою. Он прикрыл рукою глаза и с недоумением смотрел на появление двух запыленных незнакомцев. Затем, признав, с радостью вскричал: «Михаил Петрович!», обнял Янышева и поцеловал его в обе щеки. Потом обратился ко мне. Я сказал, что мое имя Альберт.

— А имя вашего отца?—осведомился он, с серьезным выражением.

— Давид,—ответил я.

— Милости просим, Альберт Давыдович, в дом Ивана Иванова. Мы бедны, но чем богаты, тем и рады.

Иван Иванов, с длинною бородою, светлыми глазами, мускулистый, держался еще прямо, как стрела. Но не крепость его тела, не его радушие, не приветливая церемонность речи поразили меня. Меня удивило его спокойное достоинство. То естественное, глубоко заложенное, как корни дерева в почве, достоинство. И в самом деле, оно выросло на почве того «мира», из которого Иван Иванов уже 60 лет достает себе пропитание, как и все его предки.

Соломенная крыша его небольшой, выстроенной из бревен избы позеленела от сорных трав; садик перед избою был украшен цветами.

Татьяна, жена Ивана, и дочь Авдотья, поздоровавшись с нами, принесли из избы стол. На стол поставили самовар и, сняв крышку, опустили яйца в кипящую воду. Иван и его домочадцы перекрестились, и мы сели за стол.

— Чем богаты, тем и рады,—сказал Иван.

Женщины принесли большую миску со щами и по деревянной ложке для каждого из нас.

Предполагалось, что все станут есть из общей миски. Видя это, я не стал ждать разрешения, когда можно будет черпать ложкою, а принялся есть сразу. После того, как первая миска была опорожнена, принесли вторую, полную каши. Затем еще миску сладкой похлебки из фруктов. Иван председательствовал за самоваром, разливал чай, раздавал хлеб и огурцы. Это было особое пиршество, так как в этот день в Спасском справлялся местный праздник.

Даже вороны, казалось, знали об этом. Большие стаи их, носившиеся над нашими головами, отбрасывали на землю движущиеся, похожие на облака, тени; садясь на церковную крышу, они совершенно покрывали ее. Зеленые и позолоченные купола тогда в минуту становились чернее смолы. Я рассказал Ивану, что в Америке фермеры убивают ворон, потому что они клюют зерно.

— Да,—сказал Иван,—и наши вороны клюют зерно. Но они едят также и полевых мышей. Впрочем, хотя они и вороны, все же, как и мы, хотят жить.

Татьяна высказала такую же мысль относительно мух, роями летавших над столом. Садясь на сахар, они делали его черным, как вороны крышу церкви.

— Ничего, что мухи,—сказала Татьяна.—Бедняжки! через месяц или два они все равно подохнут.

Деревня справляет праздник.

Был праздник Преображения, и из окрестных деревень приплелись нищие, калеки, старики. То и дело, мы слышали стук палки и жалобный голос, просящий милостыню. Янышев и я бросали им в сумы по нескольку копеек. Женщины выносили большие ломти черного хлеба. Иван торжественно опускал в каждую суму по зеленому огурцу. На огурцы в этом году был неурожай, и его подаяние было действительно даром любви. Но, что бы мы ни подавали,—огурцы, хлеб, копейки,—в ответ мы неизменно получали произносимое нараспев «спаси тебя, господь».

Даже самый грубый, самый бедный русский крестьянин чувствует глубокую жалость при виде людского несчастья. Его собственная жизнь приучает его к мысли о труде и лишении, но не заглушает в нем чувства сострадания; она делает его сердце даже более чувствительным к страданиям других. Для Ивана город-

ские рабочие, закупоренные в жарких и пыльных улицах, были «бедняки», преступники, заключенные в тюрьмах «несчастненькие», всего же глубже тронула его сердце прошедшая мимо группа военнопленных в австрийской форме. Между тем сами пленные казались довольно веселыми и беспечными. Я обратил его внимание на это.

— Но они так далеко от родины,—возразил Иван,—как же они могут быть счастливы?

— Почему же?—заметил я.—Вот, например, я еще дальше от родины и, однако, я счастлив.

— Правда,—согласились со мною прочие.

— Нет,—сказал Иван,—это неверно.—Альберт Давыдович здесь по доброй воле, тогда как пленные здесь потому, что их сюда привели силою.

Разумеется, двое чужих, сидящих за столом Ивана Иванова, произвели сенсацию среди жителей Спасского. Однако старшие не позволяли любопытству переступать границы приличия. Но вот прибежало несколько детей, и они пристально уставились на меня. Я им улыбнулся, а они смотрели, как ошеломленные громом. Снова я улыбнулся, и трое из них чуть не упали навзничь. Было очевидно, что мои дружеские подходы вызывают какое-то особенное отношение. При третьей улыбке они закричали: «Золотые зубы!» и, захлопав в ладоши, убежали. Прежде чем я мог уяснить себе в чем дело, они вернулись с двумя десятками других и, стоя полукругом у стола, все пристально смотрели на меня. Это вызвало у меня опять улыбку. «Да! да!»—закричали они,—золотые зубы! Человек с золотыми зубами!». Так вот почему мои улыбки пугали их! Что могло быть удивительнее чужеземца, во рту у которого росли золотые зубы? Появись я в Спасском с золотою короною на голове, я не мог бы поразить его жителей более, чем моими золотыми коронками на зубах. Но я узнал об этом лишь на другой день.

С дальнего конца деревни донеслись звуки хора, сопровождаемые бренчаньем на балалайке, пиликаньем на гармонике и гудением бубна. Яснее и ближе слышалась музыка, пока внезапно из-за угла церкви не появилось шествие певцов и музыкантов. Девушки были в светлых праздничных крестьянских костюмах, парни в зеленых и оранжевых ярких цветов рубахах, подпоясанных шнурками с кисточками на концах. Парни играли на инстру-

ментах, девушки вторили запевале, светлоглазому, с растрепанными волосами, парню лет семнадцати, недавно призванному на фронт. Чистым сильным голосом пел он старую народную песню, прибавляя стихи собственного сочинения. Три раза обошла толпа по лужайке деревню. Затем, расположившись на траве перед церковью, они пели и плясали до утра. Быстрые, веселые движения пляшущих, яркие краски их одежд, облитых светом костров, смех и отрывки песен, свободные, откровенные ласки молодых влюбленных, звуки церковного колокола, раздающиеся по временам как гонг в старинном храме, и испуганно-носящиеся птицы,—все, взятое вместе, производило впечатление какой-то первобытной энергии и красоты. Это унесло меня через века назад к тем дням, когда человечество было юно и люди черпали жизнь и вдохновение прямо из природы.

Янышев рассказывает об Америке.

Да, это был сказочный мир, идиллическое общество, связанное узами труда, игры и празднеств.

Под обаянием виденного я направился к избе, отворил дверь и очутился лицом к лицу с двадцатым веком. Это были слова и фигура Янышева, рабочего-социалиста и интернационалиста. Собравшимся вокруг него крестьянам он рассказывал о современной Америке. Но это не была обычная повесть о горьком опыте русского в Америке, о трущобах, забастовках, нищете,—словом, обо всем, что тысячи вернувшихся из изгнания распространяют в России. Янышев хриплым голосом, но с пылающим лицом рассказывал о диковинах Америки. Крестьянам, живущим в одноэтажных избах, он говорил о домах в Америке в 40, 50 и 60 этажей. Людям, которые никогда не видали мастерской больше их деревенской кузницы, он повествовал о громадных фабриках, где сотни паровых молотов работают день и ночь. Из их тихой русской деревни он переносил их воображение в большие города, где поезда, переполненные ищущими удовольствий пассажирами, мчатся по ночам под землею и где грохочут фабрики, с миллионами суетящихся как в муравейнике людей.

Мужики слушали внимательно. Они не были особенно поражены, но все же нельзя было пожаловаться на недостаток внимания.

— Чудеса творятся в Америке,—сказал кто-то из мужиков, пожимая на прощанье нам руки.

— Да,—согласился с ним его товарищ,—там вещи творят почуднее самого лешего.

Но в их любезных замечаниях чувствовалась снисходительность, прикрытая вежливостью к чужестранцам.

Подслушанный случайно на другой день разговор обнаружил их настоящее мнение.

— Немудрено,—говорил Иван,—что Альберт и Михаил такие бледные и изнуренные. Посмотреть бы, какою ты стала бы в этакой земле.—А Татьяна сказала: тяжела наша жизнь, что и говорить, но, бог весть, не тяжелее ли еще она там?

В первый раз я уловил здесь истинное положение вещей, какое с течением времени становилось для меня все яснее. У крестьянина есть свой ум, и он думает обо всем по-своему. Это изумляет иностранца, которому русский крестьянин кажется каким-то пережитком на земле, погруженным чуть ли не во мрак средневековья, опутанным суеверием и замученным бедностью.

С удивленьем узнаешь, что русский мужик, не умеющий ни читать, ни писать, способен мыслить. Правда, его мысль первобытна, элементарна. Она отражает вековую жизнь на широко раскинувшихся равнинах и степях, под пустынным небом с долгими зимами. Своим свежим, нетронутым воспитанием умом крестьянин разрешает все вопросы проникновенным и приводящим в замешательство образом. Он не пасует перед нашими вкоренившимися убеждениями и переоценивает наше преклонение перед западною цивилизациею. И ему вовсе не представляется очевидным, что она стбит той цены, какую мы платим за нее. Он не загипнотизирован ни машинами, ни производительностью, ни производством. Он спрашивает: для чего все это? делает ли оно людей счастливее? делает ли их добрее?

Его заключения не всегда глубоки. Иногда они только наивны и смешны. Когда «мир» собрался в понедельник утром, староста передал мне приветствие от жителей села. Он сказал, извиняясь, что дети разнесли по селу слух о моих золотых зубах, но это кажется всем неправдоподобным, и никто не знает, верить или не верить. Мне не оставалось ничего более, как показать зубы. Я раскрыл рот, и староста долго и внимательно заглядывал туда, а затем важно подтвердил справедливость слуха. А когда

затем явились другие члены мира, я должен был об'яснить, что в Америке обыкновенно кладут в рузрушающийся зуб золото или серебро. Какой-то старик лет восьмидесяти, прекрасные чистые зубы которого совершенно не нуждались в зубном враче, высказал мнение, что, верно, американцы едят пищу какую-то особенную или же очень жесткую и тем портят свои зубы. Некоторые говорили, что американцам, может быть, и подходит иметь золотые зубы, но что это невозможно для русских, пьющих всегда очень много горячего чая, и что золото в зубах должно расплавиться. Иван Иванов, на обязанности которого лежало поддерживать престиж своих гостей, оспаривал это. Его чай, утверждал он, самый горячий во всей деревне и, хотя он угостил меня десятью стаканами, мои зубы все же не расплавились.

За границей слово «американец» почти синоним «богатого человека». Мои золотые очки и золотая дорожная ручка убедили их, что я должен быть человек чрезвычайно богатый. Впрочем, в свою очередь я тоже был поражен тем, как они расточают золото. У крестьян села Спасского имелось золото в изобилии, но только не для них самих; оно было в их церкви. Переступив порог этой церкви, вы невольно обращаете внимание на прекрасный иконостас, двадцати или тридцати футов вышины, покрытый блестящею позолотою. В свое время жители села собрали десять тысяч рублей на украшение храма.

Хотя село было слишком удалено от всяких европейских и американских влияний, все же в нем замечались кое-какие признаки культуры и цивилизации далекого Запада. Были папиросы и швейные машины Зингера, были люди, простреленные пулеметами, а два парня из фабричного города носили костюмы, купленные в магазине, и целлулоидные воротнички, представлявшие резкий контраст с деревенскими рубахами и кафтанами.

Раз вечером, стоя у соседней избы, я с удивлением услыхал из-за занавески нежный женский голос, спрашивавший: «parlez-vous francais?». Это была недурненькая крестьянская девушка, выросшая в деревне, но с видом и грациею девушки, выросшей при дворе. Она служила во французском семействе в Петрограде и вернулась на родину разрешиться от бремени.

Так, разными путями внешний мир просачивался в село, пробуждая его от векового сна. Рассказы о больших городах и заморских странах приносились сюда пленными, солдатами, тор-

БИБЛИОТЕК

говцами и земскими деятелями. Результатом этого являлась большая путаница в представлениях об иностранных государствах, забавная смесь фактов и вымысла. Раз комичный случай, коснувшийся Америки, даже привел меня в смущение.

Мы сидели за ужином, и я об'яснял, что в свою записную книжку я заношу заметки о привычках и обычаях русских, кажущихся мне странными и чудными.

— Вот, например,—говорил я,—вместо того, чтобы иметь отдельные тарелки, вы едите из большой общей миски. Это странный обычай.

— Да,—сказал Иван,—должно быть мы чудной народ.

— А эта большая печь! Она занимает треть всей избы. В ней вы печете хлеб. На печи вы спите. Прямо с улицы вы паритесь в ней. Вы все делаете в ней и самым странным образом.

— Да,—снова согласился Иван,—мы, верно, особый народ.

Я почувствовал, что кто-то наступил мне на ногу. Я думал, что это собака, но, оказалось—свинья. «Да вот еще!—воскликнул я,—самый странный из ваших обычаев, это—держать свиней и цыплят в избе».

В этот момент ребенок на руках Авдотьи забарабанил ногами по столу, прямо перед своим лицом. Обращаясь к ребенку, Авдотья сказала: «Перестань! сними со стола ноги. Ведь ты не в Америке!». И, повернувшись ко мне, прибавила вежливо: «Что за чудные обычаи у вас в Америке!»

Мы косим хлеб.

И на другой день гости из соседних деревень еще не расходились по домам. Еще продолжались игры и пляски на лужайке деревни, и банда ребятишек, раздобывших гармонику, важно расхаживала по селу, распевая вчерашние песни своих старших сестер и братьев. Большая часть села пребывала в послепраздничном оцепенении. Но этого нельзя было сказать о семье Ивана. В ней каждый был занят своим делом: Авдотья крутила солому для связки снопов, Татьяна обдирала лыко для плетения лаптей, Ольга, старшая дочь Авдотьи, была усиленно занята обучением кошки пить чай. Иван наточил косы, и все мы отправились в поле.

Во время нашего шествия молодежь выходила из своих изб. «Сделайте милость, не выходите нынче в поле, — упрашивали они,—оставайтесь дома».

Но так как мы продолжали итти, то они казались очень недовольными. Я спросил, почему мы не должны идти в поле?

— Если хоть одна семья выйдет в поле, остальные тоже должны итти вслед за нею,—об'яснили они,—и тогда кончится наш веселый праздник. Сделайте милость, не ходите!

Но созревший хлеб не ждал. День стоял солнечный, и не было и признака дождя. Иван шагал первым и через четверть часа, взобравшись на холм, когда мы оглянулись назад, уже все тропинки были усеяны темными фигурами, спешащими в поле. Подобно улью, село выслало своих работников сбирать обильные запасы пищи на грядущую зиму. Когда мы пришли в поле, Янышев продекламировал отрывки из народной поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»:

Ой, поле многохлебное!
Теперь и не подумаешь,
Как много люди божии
Побились над тобой,
Покамест ты оделося
Тяжелым, ровным колосом
И стало перед пахарем,
Как войско пред царем
Не столько росы теплые,
Как пот с лица крестьянского
Увлажили тебя!
Довольны наши странники:
То рожью, то пшеницею,
То ячменем идут.
Пшеница их не радует:
Ты тем перед крестьянином,
Пшеница, провинилася,
Что кормишь ты по выбору!
За то не налюбуются
На рожь, что кормит всех.

Я принял участие в общей работе, нося воду, связывая снопы, оттачивая косы, собирая скошенные светло-желтые колосья. Коса требует ловкости и практики, и мой вид, когда я косил, не мог поднять престиж американских косарей. Иван был слишком вежлив, чтобы критиковать мое уменье, но я мог видеть, как он старался скрыть веселое настроение и, когда он переговари-

вался с Авдотьей, я уловил слово «верблюд». И в самом деле, я горбился как верблюд, в то время, как Иван стоял прямо; в уменье же владеть косою он был мастером своего дела. Я повернулся к Ивану и упрекнул его за то, что он сравнивает меня с верблюдом. Он было смутился, но когда увидел, что я сам потешаюсь над собою, подтверждая сходство с этим горбатым животным, долго и громко смеялся.

— Татьяна! Михаил!—кричал он.—Альберт Давыдович говорит, что он похож на верблюда, когда косит. Ха-ха!

Два или три раза после этого он еще разражался неожиданным смехом. И, верно, воспоминание о «верблюде» потом не раз скрашивало ему скучные вечера длинной зимы.

Писатели много распространяются о лени русского мужика. Наблюдая его шатающимся на базаре и у кабака, выносишь в самом деле такое впечатление. Но это впечатление приходится быстро отбросить, когда побываешь с мужиком в поле. И теперь солнце пекло им голову, пыль поднималась из-под их ног, а они все работали, нагибались, вязали и складывали снопы до тех пор, пока последняя соломинка не была убрана. Затем они побрели обратно в село.

Крестьяне относятся сдержанно к большевикам.

Со времени нашего приезда крестьяне не раз упрашивали Янышева произнести речь. Ранним вечером пришли выборные с просьбою об этом.

— Подумать только!—говорил Янышев.—Если бы десять лет назад крестьяне заподозрили меня в том, что я социалист, они убили бы меня. Теперь же, зная, что я большевик, они упрашивают меня сказать речь. Да, много, много воды утекло с тех пор.

Янышев не был одаренным человеком, если не считать даром способность глубоко отзываться на горе других. Измученный их страданиями, он избрал уделом для себя лишения. В Америке он, будучи рабочим, зарабатывал шесть долларов в день. Из заработка он тратил немного на дешевую комнату и пищу. На остальное он покупал «литературу» и таскал ее к другим. В бедных кварталах Бостона, Детройта, Москвы и Марселя до сих пор говорят об Янышеве, как о товарище, который все отдавал для дела.

В Токио его товарищ по эмиграции наткнулся раз на возбужденного кули, пытавшегося втащить сопротивлявшегося Янышева в рикшу. «Я, было, сел в его рикшу,—об'яснял Янышев,—да он потащил рикшу, и стал потеть, как лошадь. Я был бы идиотом, если бы заставил другого человека работать на себя, как животное. Я заплатил ему и вышел. Больше никогда не сяду в рикшу.

Вернувшись в Россию, он бродил день и ночь, произнося речи перед бесчисленным множеством людей до тех пор, пока не потерял голос и мог только говорить шепотом и об'ясняться жестами. Он вернулся в свою родную деревню для восстановления сил. Но даже и здесь революция не давала ему возможности отдохнуть.

— Скажи нам что-нибудь, Михаил Потрович,—упрашивали его крестьяне.—Хоть небольшую речь.

Янышев не мог им отказать. Комитет приволок телегу на лужайку деревни и, когда стало очень тесно вокруг нее, Янышев взобрался на эту кафедру и стал рассказывать историю революции, о войне и о земле в большевистском освещении.

Его слушали внимательно. А между тем сумерки переходили в ночь. Принесли факелы, и Янышев продолжал говорить. Его голос звучал хрипло. Принесли воду, чай, квас. Голос Янышева ослабел совсем, но толпа ждала терпеливо, когда вернется к нему голос. Эти крестьяне, проработавшие весь день в поле, стояли теперь ночью и с большей жадностью стремились собрать пищу для ума, чем они собирали ее для тела. Было нечто символическое в факеле, ярко горящем в темной деревне, одном из десятка тысяч других факелов, зажженных в степях Украины, на московских равнинах, в далекой Сибири. Везде ночью зажигались факелы, и другие Янышевы рассказывали крестьянам историю революции.

И много благоговения и старого затаенного желания выражалось в лицах людей, слушавших оратора. И сильная жажда—решить вопросы, выплывшие из глубины темных масс.

Янышев говорил до полного изнеможения. Только, когда он совсем не мог продолжать, слушатели неохотно разошлись. Я вслушивался в их рассуждения по поводу выслушанного.

Были ли готовы неграмотные мужики воспринять новое учение под руководством пламенного пропагандиста?

— Михаил Петрович хороший человек,—говорили они.—Мы знаем, что он ездил далеко и видел многое. То, во что он верит, может быть хорошо для некоторых, но мы не знаем, будет ли оно пригодно нам. Янышев изливал душу, об'ясняя, растолковывая самую суть большевизма, а не только одну оболочку учения. Он сам сказал это, когда притащился на сеновал, куда мы перебрались из клети. Молодой крестьянин Федосеев, казалось, угадывал чувство одиночества и пустоты в душе пропагандиста, отдавшего все лучшее и все-таки, повидимому, отвергнутого.

— Все это так ново, Михаил Петрович,—говорил он.—Нам надо время подумать и потолковать об этом. Вот нынче мы жали хлеб, но ведь месяцы прошли с того времени, как мы его сеяли.

Я попытался вставить слово утешения.—Ничего,—шептал Янышев с уверенностью фанатика в конечном торжестве своего дела,—они поверят.—Он лежал в изнеможении на сене; весь он дрожал и кашлял, но лицо его было светлое.

Я сомневался, но Янышев был прав. Восемь месяцев спустя он произносил другую речь на лугу деревни. Он призывал жителей Спасского записываться в члены коммунистической партии. Председателем собрания был Федосеев.

Янышев говорит о земле.

Утром несколько крестьян пришли к нам с вопросами. Главный был вопрос насчет земли. Решение большевиков было в то время такое: предоставить это дело местным сельским комитетам, позволив им отобрать большие имения и передать их в руки крестьян. Крестьяне указывали нам, что это не разрешает земельного вопроса для Спасского, где не было ни государственных, ни церковных, ни частных владений.

— Вся земля вокруг и без того наша,—сказал Егор.—Ее очень мало, а бог подает нам много детей. Может быть, большевики и очень добры, как говорит Михаил Петрович, но, если они и возьмут власть, смогут ли они создать больше земли? Нет. Сделать это может лишь бог. Нам нужно правительство, которое дало бы нам денег на переселение в Сибирь или в другое место, где земли много. Могут-ли большевики сделать это?

Янышев об'яснил план колонизации и затем перешел к земледельческой коммуне, какую большевики проектировали для России. Предполагалось превратить «мир» в кооперативное земле-

дельческое предприятие крупного масштаба. Он указывал на убыточность существующей системы в Спасском. Обычно земля здесь делилась на четыре части. Одна отводилась под общее пастбище. Для уверенности в правильном распределении хорошей, плохой и средней земли, часть каждого крестьянина делилась на соответствующие доли.

Янышев указывал на потерю времени при таком переходе из поля в поле. Он ставил на вид выигрыш во времени от того, что поля, не будучи размежеваны, станут обрабатываться, как одно целое, в широком масштабе. Он нарисовал картину работы трактора и жатвенной машины. Двое из крестьян видели их чудесную работу в другой губернии и подтвердили, что по своей работе это были сущие «черти».

— А будет ли Америка посылать нам такие же машины?— спросили крестьяне.

— Временно,—ответил Янышев.—А затем мы построим в России большие заводы, которые будут вырабатывать такие машины.

Он перенес своих слушателей из их тихого деревенского убежища в шумный, грохочущий современный большой завод. И снова речь его вызвала отрицательное отношение к себе. Крестьяне были скорее испуганы, чем увлечены описанием современной промышленности. Они бы и хотели нашей чудесной механики, но думали, что она явится сомнительным благом, за какое придется заплатить созерцанием огромных труб, извергающих черные клубы дыма на зелень их страны. Крестьянам страшна мысль «вывариться в фабричном котле». Нужда гнала некоторых из них в шахты и на фабрики, но со времени революции они толпами возвращались на родину.

Помимо вопросов общественного характера, крестьяне задавали Янышеву также и много вопросов персонального характера. Можно ли политические убеждения согласовать с личными? Например, может ли он, оставивший православную веру, креститься перед едою и после нее? Янышев восставал против этого и приготовился к вопросам со стороны Ивана Иванова. Но, хотя старик смотрел косо, а его жена с огорчением, когда Янышев не крестился, они никогда не вызывали его на об'яснения.

В России обычно приветствуют работающего в поле словами: «бог в помощь!». Янышев решился взамен этого говорить:

«доброе утро!». Он был также против отпевания ребенка Федосеева. В России колокола в селе часто звонят по случаю смерти детей.

— Много детей посылает господь,—говорили старшие.— И для того, чтобы кормить тех, что живут, нельзя оставить поле в страдную пору.

Поэтому другие занялись своею работою в то время, как священник, родители, Янышев и я пошли в церковь. Подле матери стояло ее девять детей. Каждый год она родила по ребенку и, поставленные в ряд по их возрасту, они образовали из себя прямой уклон лестницы с некоторыми пропусками. Прошлый год умер один ребенок, а теперь умер другой. Он был совсем крошечный, не больше цветка в гробу, маленький и хрупкий в своем голубом гробике под тяжелым сводом церкви.

Селу Спасскому посчастливилось со священником. Это был добрый, симпатичный человек, любимый народом, который ему доверял. Принужденный часто говорить в церкви проповеди, он не говорил по шаблону. Тихо зажег он свечи на гробике, осенил крестом мертвого ребенка и начал службу, огласив церковь звучным голосом. Священник и дьякон отпевали; в это время отец, мать и дети крестились, становились на колени и касались головами пола. Против священника стоял Янышев и упорно глядел вниз.

И так они стояли друг против друга, и между ними находился гроб с его тайною смерти и жизни; один из них был священник православной церкви, другой пророк социальной революции; один посвятил себя счастью и спасению детей в раю на небе, другой счастью и спасению живых детей на земле.

Я отправился с Янышевым в его странствование миссионера по русским городам и местечкам. От искусных мастеров ткацкого центра в Иваново-Вознесенске мы постепенно прошли через все пролетарские районы вплоть до воровской трущобы в Москве, которую обессмертил Максим Горький в своей пьесе «На дне». Но мысли Янышева вечно обращались назад к деревне.

Шесть месяцев спустя я простился с ним на четвертом с'езде Советов в Москве. За его руку держалась женщина лет семидесяти, сгорбленная и морщинистая. Янышев почтительно отрекомендовал ее мне, как «учителя». За пределами России и вне рабочих кругов ее имя было совершенно неизвестно. Но среди моло-

дых революционеров, среди рабочих и крестьян оно было популярно, было известно. Долгие годы забот и голода сделали ее волосы совсем белыми и ослабили тело, возбуждая жалость в тех, кто не видел еще ее глаз. В этих глазах горел огонь, воспламенявший умы сотен юношей, подобных Янышеву, и делавший их пламенными апостолами социальной революции. Революции она отдала свою жизнь, едва осмеливаясь мечтать о том, что ей суждено было теперь увидеть.

Теперь ее время наступило, и она сидела между своими, сжимая руку молодого ученика. Правда, промышленность в России была разрушена, германцы были у ворот, и голод и холод бродили по городу, все же, сидя в старом зале бывшего Благородного собрания и слушая Ленина, она видела пришествие нового дня, приносящего мир всему народу, а ей счастье жить в этой стране.

— Мы оба из народа, и оба любим его,—тихо сказала она мне.—И когда революция закончится, Михаил и я вернемся жить в деревню.

ГЛАВА IV.

ГЕНЕРАЛ НА БЕЛОМ КОНЕ.

Летом 1917 года я колесил по России вдоль и поперек. Со всех сторон раздавался плач пораженного горем народа. Я слышал его на ткацких фабриках в Иваново-Вознесенске, в Нижнем на ярмарке и на базарах Киева. Он доносился до меня из трюмов волжских пароходов и ночью с плотов и барж, спускающихся вниз по Днепру. Тяжелым бременем, лежавшим на плечах народа, была война, «проклятая война!».

Везде я видел вред и разрушение от войны. На Украине я проезжал по тем раздольным степям, которые заставили Гоголя воскликнуть: «Чорт возьми вас, степи! Как вы хороши!». Мы остановились в небольшой деревне, окруженной холмами, и около трехсот женщин, около сорока стариков и детей и до двадцати солдат окружили нашу земскую телегу. Поздоровавшись с ними, я спросил: «Кто из вас слышал когда-нибудь о Вашингтоне?». Один парень поднял руку. «А кто слыхал о Линкольне?». Поднялись три руки. «О Керенском?». Около девяносто. «О Ленине?». Снова девяносто. «О Толстом?». Полтораста рук.

Это забавляло их, и они смеялись вместе с тем над иностранцем и над его комичным произношением. Затем глупый промах. Я спросил: «Кто из вас потерял кого-нибудь на войне?». Почти каждая рука поднялась, и рыдания пронеслись по смеявшейся до того толпе, подобно стону зимнего ветра в деревьях. Два старика упали с плачем у колес повозки. Какой-то парень выбежал из толпы, крича: «Мой брат! Убили моего брата!». И женщины, поднеся платок к глазам или упавши в об'ятия других, горько плакали,—

и я поразился, откуда берется столько слез. Кто бы мог подумать, что за этими спокойными лицами скрывалось столько горя!

Эта русская деревня была одна из тысяч других, откуда война увела всех работоспособных мужчин. Одна из бесчисленных деревень, куда обратно приплелись раненые, искалеченные, слепые, безрукие. Но миллионы их не вернутся вовсе—они лежат в той большой могиле в тысячу пятьсот миль длины, тянущейся от Черного моря до Балтийского—по всему германскому фронту. Там крестьяне, отправленные против германских пулеметов с одними палками в руках, умирали массами.

Было довольно много ружей... в Архангельске. Они были даже сложены в вагоны и отправлены на фронт. Но купцы, которым эти вагоны нужны были под товары, сунули чиновникам несколько тысяч рублей,—и в десяти милях от Архангельска, военные запасы были выгружены, а вагоны нагружены на запасном пути шампанским, автомобилями и платьями из Парижа.

Да, веселая, блестящая жизнь шла в Петрограде и в других крупных городах, страшно наживались там от войны,—но холод и кровь были единственною выгодою для 12.000.000 солдат, посланных по приказу царя в окопы.

И 12.000.000 их находилось под ружьем и теперь, в дни Керенского. При мобилизации их взяли прямо от сохи и из мастерских и вручили им ружья в руки. Правительство пускало в ход все средства, чтобы удержать ружья в солдатских руках. Оно раздавало им знамена с надписью: «Победа и слава». Оно организовывало женские «батальоны смерти» и указывало при этом: «Позор вам, мужчины, если вы допустите, чтобы девушки воевали за вас!». В тылу полков, не желавших воевать, ставились пулеметы, угрожавшие верною смертью отступавшим. Но все это не достигало цели.

Мятеж солдат.

Солдаты тысячами бросали ружья и бежали с фронта. Как тучи саранчи, потянулись они вдоль железных дорог, по шоссе, по воде. Они кишели в поездах, облепляли крыши и платформы вагонов, цеплялись кучами на ступеньках и выбрасывали пассажиров с их мест. Кто-то из Ассоциации Молодых Христиан уверяет под клятвою, что видел такую надпись: «Товарищи! просим не вы-

брасывать пассажиров из окна после того, как поезд тронулся». Быть может, это преувеличение. Но они выкинули из окна вагона наши чемоданы.

Это произошло во время нашей поездки с Александром Гомбергом в Москву. Купэ вагона было переполнено, и русские, закрыв герметически двери и окна от ночного воздуха, блаженно спали. Становилось невыносимо, как в турецкой паровой бане. Задыхаясь, я тихо приоткрыл дверь, а затем уснул. На утро нас ждал неприятный сюрприз: наши чемоданы исчезли.

«Какие-то товарищи—воры в форме—выбросили их из окна, и сами спрыгнули с поезда»,—об'яснил старик-кондуктор. В виде утешения он сообщил, что таким же образом украден багаж у офицера в соседнем купэ. Мы не столько горевали о пропаже наших чемоданов, как о незаменимой потере паспортов, записных книжек и рекомендательных писем, исчезнувших вместе с чемоданами.

Через две недели нас ждал другой сюрприз в виде повестки от начальника станции в Москве. Один из наших чемоданов был прислан ему ворами. В нем не оказалось ничего из наших костюмов, но были налицо все документы—ни один не пропал.

Принимая во внимание огромное количество дезертиров, надо удивляться не числу совершенных ими краж и всякого рода эксцессов, а тому, что кражи совершались в сравнительно небольшом числе. И если рассказы обо всех ужасах жизни в окопах были верны, то не менее удивительно опять-таки не то, что солдаты дезертировали, а то, что многие из них оставались на фронте.

Я хотел сам видеть эти условия. Много раз я пытался добыть пропуск на фронт. Наконец, в сентябре это мне удалось. С Джоном Рид и Борисом Рейнштейном мы отправились на Рижский фронт.

С нами ехал русский священник, упитанный, бородатый мужчина, довольно развитой и вежливый, но с необыкновенною слабостью к чаю и к разговорам. На двери нашего купэ кондуктор прибил дощечку с надписью: «Американская миссия». Под этою эгидою мы спокойно спали и ели, пока поезд полз себе под моросившим дождем, а священник без конца рассказывал о солдатах.

— В старом тексте церковных молитв,—говорил он,—бог называется царем небесным, богородица же—царицею. Теперь мы должны выкинуть эти титулы: народ не хочет оскорблять бога. Когда же в церкви священник молится о «мире всего мира», солдаты кричат: прибавь, «без аннексий и контрибуций!». Затем мы молимся за «путешествующих, больных и страждущих», а солдаты кричат: «молись также за дезертиров!». Революция нанесла удар вере, но все-таки солдаты в массе религиозны. Многое еще можно сделать во имя креста.

Но империалисты пытались сделать во имя креста уже слишком многое. «Продолжайте войну!—кричали они.—Продолжайте войну до тех пор, пока мы не водрузим креста на соборе св. Софии в Константинополе!». На это солдаты отвечали: «Прежде чем мы водрузим крест на соборе св. Софии, тысячи крестов будут поставлены на наших могилах. Нам не нужно Константинополя. Мы хотим возвратиться домой!

«Мы не хотим, чтобы другой народ отнял у нас землю; тем более не хотим сражаться из-за того, чтобы отнять землю у другого народа».

Но если бы солдаты даже и хотели сражаться, то как могли они это сделать? В Вендене, старом городе тевтонских рыцарей, мы очутились среди разлагающейся армии.

Серое небо, непрерывный дождь, превращающий дороги в реки—и тяжесть, как свинец, в солдатских сердцах. Из окопов выползли худые, как скелеты, люди и с изумлением смотрели на нас; и мы увидели изнемогающих от голода людей, валявшихся на огороде, пожиравших сырую брюкву. Мы увидели босых солдат, шагавших по колючим сжатым полям, одетых в летнюю форму, прибывшую лишь к началу зимы; лошадей, брошенных мертвыми в непролазной грязи. Над окопами безнаказанно реяли бронированные аэропланы врага, наблюдая каждое движение, а в окопах не было пушек для того, чтобы стрелять по ним; не было ни пищи, ни платья. И в довершение всего не было веры в своих начальников.

Офицеры и начальство не хотели или не могли ничего сделать для солдат, а потому последние должны были сами заботиться о себе. Повсюду, даже в траншеях, появились новые Советы,—здесь в Вендене их было три (Ис-ко-сол, Ис-ко-лат, Ис-ко-стрел).

Мы посетили последний, Совет Латышских Стрелков, самый грамотный, самый доблестный, наиболее революционно-настроенный. Для того чтобы предохранить себя от германских аэропланов, они собрались в лесу—десять тысяч коричневых мундиров, гармонировавших с осенним оттенком листьев. Когда произносилось имя Керенского, оно вызывало взрывы смеха, зато всякое упоминание о мире встречалось дружными аплодисментами.

— Мы не трусы и не предатели,—заявляли ораторы,—но мы отказываемся сражаться, пока не узнаем, за что сражаемся. Нам сказали, что мы сражаемся за демократию. Мы этому не верим. Мы уверены, что союзники такие же хищники, как и немцы. Пусть они докажут противное! Пусть об'явят свои условия мира! Пусть опубликуют секретные договоры! Пусть Временное Правительство докажет, что оно не идет рука об руку с империалистами! Тогда мы сложим на поле битвы наши головы до последнего человека!

Вот причина разложения огромной русской армии. Не хотели сражаться не только потому, что было нечем, а потому что было не из-за чего. Поддерживаемые рабочими, солдаты решили, что война должна прекратиться.

Судьба Корнилова.

Буржуазия, опираясь на союзников и на генеральный штаб, решила, что война должна продолжаться.

Продолжение войны обещало троякого рода выгоду буржуазии: 1) оно приносило бы огромные барыши от военных заказов; 2) в случае победы оно дало бы, в виде доли в грабеже, проливы и Константинополь и 3) дало бы им шанс избавиться от становившихся все более настойчивыми требований масс отдать им землю и заводы.

Буржуазия следовала в данном случае примеру Екатерины II, сказавшей: «В об'явлении войны и в замене общественного волнения национальным чувством—путь спасения нашей империи от захвата народом».

И теперь требования социального характера, выдвигавшиеся русским народом, угрожали помещикам и капиталистам. Но если бы война продолжалась, день расчета с массами был бы отсрочен. Энергия, поглощаемая войною, не была бы направлена на революцию. «Продолжайте войну до победного конца!»,—слышался ободряющий крик буржуазии.

Но правительство Керенского не могло более управлять солдатами, которые уже не поддавались красноречию этого романтического оратора. «Россия должна иметь сильного человека, который не только не допустит никаких революционных сумасбродств, но который должен править железною рукою».—«Дайте нам диктатора!»

В диктаторы они наметили казачьего генерала Корнилова. На с'езде в Москве он пленил сердца буржуазии призывом к политике «крови и железа». По своей собственной инициативе он ввел смертную казнь в армии. Пулеметами он уничтожал батальоны непокорных солдат и приказывал укладывать их окоченелые тела рядами вдоль окопов. Он заявил, что только такого рода сильно действующее средство может излечить больных русских людей.

9-го сентября Корнилов выпустил прокламацию, гласившую: «Наша великая страна погибает. Под давлением численного превосходства большевиков в Совете правительство Керенского действует в полном согласии с германским генеральным штабом. Пусть все, кто верит в бога и церковь, просят господа явить чудо спасения нашей родины».

Он увел с фронта часть войска в 70.000 человек, вооруженных пиками. Многие из них были магометане—его лейб-гвардия из туркмен, его татарская кавалерия и кавказские горцы. На рукоятках своих сабель офицеры поклялись, что после взятия Петрограда безбожники-социалисты будут принуждены закончить постройку большой мечети или будут расстреляны. С аэропланами, с британскими бронированными автомобилями и с жаждущею крови дикой дивизиею он двинулся на Петроград во имя бога и аллаха.

Но он не взял Петрограда.

Во имя Советов и революции массы поднялись, как один человек, на защиту столицы. Корнилов был об'явлен изменником, стоящим вне закона. Были открыты арсеналы, и ружья были роз-

даны на руки рабочим. Красногвардейцы охраняли улицы, были вырыты окопы, и поспешно воздвигнуты баррикады. Мусульманские социалисты, бывшие в дикой дивизии, во имя Маркса и Магомета увещевали горцев не двигаться на Петроград.

Их настоятельные просьбы и доводы одержали верх. Силы Корнилова растаяли, и «диктатор» был захвачен без единого выстрела. Буржуазия была угнетена, когда надежды контр-революции так легко рассеялись под ударами революции.

Со своей стороны пролетарии торжествовали. Они видели мощь и единство своих сил.

Снова почувствовали они солидарность, связующую воедино трудящиеся массы. Окопы и заводы приветствовали друг друга. Солдаты и рабочие признавали при этом ту большую роль, какую матросы сыграли в этом деле.

ГЛАВА V.

ТОВАРИЩИ МОРЯКИ.

Весть о походе Корнилова на Петроград донеслась до Кронштадта и Балтийского флота и подняла с быстротою молнии матросов. Десятками тысяч появились они со своих кораблей и из крепости и расположились бивуаком на Марсовом поле. Они взяли на себя охрану центральных улиц, железных дорог и Зимнего дворца.

С высоким матросом Дыбенко во главе, они примчались в лагерь корниловских солдат и увещевали их не двигаться дальше. Они внесли страх перед революциею в сердца белых и пламя революции и любовь к ней в сердца своих товарищей красных.

Еще в июле Троцкий приветствовал их, как «красу и гордость революции». Когда обвинения в буйстве сыпались на них со всех сторон, он говорил: все это так, но если какой-нибудь контр-революционный генерал попытается набросить петлю на шею революции, кадеты намылят эту веревку, а матросы будут сражаться и умирать вместе с нами.

Это было доказано в авантюре Корнилова. И так было все время. По всей России я встречал этих людей в их синих рубахах, с их раскачивающеюся морской походкой. И везде они выступали распространителями идей социализма. Я слышал их на митингах и на базарах, призывающих к борьбе. Я видел их в отдаленных деревнях за сбором продовольствия для городов. Когда вспыхнуло восстание юнкеров в Москве, я видел матросов впереди толпы при занятии телефонной станции и снова их, выбивающими юнкеров из их гнезд. Всегда они были первыми защит-

никами республики, при малейшем намеке на опасность постоянно готовыми притти ей на помощь.

Революция была дорога русскому матросу, потому что несла ему освобождение от кошмара прошлого. Русские морские офицеры происходили почти исключительно из привилегированной касты. В старые счеты между ними и матросами входила не только суровая дисциплина, но также произвол и личные счеты. Судьба матроса зависела от прихоти, подозрительности и безумной ярости низших офицеров, которых он презирал. С матросом обращались, как с собакой, и унижали надписями, вроде: «Для собак и матросов».

Как и у солдата, ответы матроса его начальнику ограничивались тремя фразами: «Так точно», «Никак нет» и «Рад стараться» и обращением: «Ваше благородие». Каждое лишнее рассуждение могло принести ему удар по лицу, гнусные обиды и самое суровое наказание. За четыре года 2.527 человек были приговорены к арестантским ротам или ссылке на каторжные работы. И все это по приказу его императорского величества.

Теперь царя нет; самое имя его вычеркнуто из списков, и суда переименованы в соответствии с новым республиканским строем. Так, «Император Павел I» стал «Республикою», «Император Александр II» был назван «Зарею Свободы». Этого было бы достаточно, чтобы заставить прежних самодержцев перевернуться в их гробах. Но она еще тяжелее отражалась на живом царе и его сыне. «Цесаревич» был переименован в «Гражданина», а «Николай II» продолжал плавать в качестве доброго судна «Товарищ».

Бывший царь, сосланный впоследствии в Тобольск, знал, что всякий поденщик стал «товарищем».

Новые названия кораблей появились в золоте букв на развевающихся лентах матросских шапок. Сами же матросы стали миссионерами свободы, братства и республики.

Переменить название кораблей, разумеется, очень легко, но перемены эти не были лишь поверхностными; они символизировали также и реальное изменение положения. Они были внешними и видимыми признаками внутреннего и духовного факта—демократизации огромного флота.

Колоссальная статуя Александра III, снятая при Советской власти.

Матросы управляют флотом.

В сентябре я впервые познакомился с матросом в его домашней обстановке. Произошло это в Гельсингфорсе, где Балтийский флот заграждал подступы к Петрограду с моря. «Полярная Звезда», яхта прежнего царя, стояла в доке. Наш проводник, бывший офицер, указал на закрашенную в желтое обшивку вокруг корабля.

— Эта обшивка из лучшего красного дерева,—говорил он шепотом.—Она стоила двадцать пять тысяч рублей, но этим проклятым большевикам лень ее полировать, и они закрасили ее в желтое. В мое время матрос был действительно матросом. Он знал, что его дело скоблить и полировать—и он ревностно исполнял свои обязанности. Если же он их не исполнял, то мы лупили его. Теперь какой-то чорт вселился в них! Подумайте только! На этой самой яхте, принадлежавшей самому царю, простые матросики составляют законы об управлении флотом и всей страной. Да они еще не останавливаются на этом. Они уже толкуют об управлении всем миром. Это называется у них интернационализмом и демократиею, но я это называю изменою и сумасшествием.

Таково было изложенное вкратце различие между старым режимом и новым. При старом порядке приказание, дисциплина и контроль исходили свыше, при новом они поддерживаются самими матросами. Старый флот был офицерский, новый—матросский. С этой переменой создалась и новая переоценка ценностей. И теперь полировка матросских представителей в вопросах о демократии и интернационализме оценивается выше, чем чистка меди и красного дерева на корабле.

Другой показатель духа в новом флоте бросился нам в глаза, когда мы взобрались по шкафуту «Полярной Звезды», где часто беспутствовал Распутин со своими собутыльниками. Здесь американской корреспондентке Бэсси Битти было в серьезной форме заявлено, что присутствие женщины на кораблях отныне воспрещено, одно из новых правил советских матросов. Капитан был вежлив, украшен в изобилии золотыми шнурами, но совершенно беспомощен.

— Я здесь не при чем,—заявил он уныло.—Все в руках Комитета.

— Но она проехала десять тысяч верст, чтобы увидеть флот.

— Хорошо, посмотрим, что скажет Комитет.

Посланный вернулся со специальным разрешением от Комитета, и мы двинулись дальше. Везде члены экипажа сначала, возражали против присутствия женщины в нашей компании, но они вежливо сдавались, когда капитан заявлял: «По особому разрешению Комитета».

Балтийский Центральный Комитет или, как его обычно называют «Центробалт», заседал в большой роскошной каюте. Это был просто судовой Совет. Каждые 1.000 матросов имели представителя в комитете, состоявшем из 65 членов; 45 из них были большевики. Совет состоял из четырех главных отделов, ведающих всеми делами флота: административного, политического, военного и морского. Хотя на капитане был прежний блестящий мундир, но вход в большую каюту ему был воспрещен.

К счастью, мое удостоверение послужило нам в качестве наилучшего пропуска в Комитет и в каюту. Ирония судьбы! Несколько месяцев назад, здесь сидел, небрежно развалясь, средневековой самодержец со своими статс-дамами и лакеями. Теперь в каюте сидели загорелые моряки, разрешавшие проблемы наиболее передового социализма. Каюту приспособили для заседаний. Пианино и картины помещены в музей. Столы покрыты сукном с коричневою каймою. Светский салон стал рабочим кабинетом. Здесь корпели над работою простые матросы, неожиданно превратившиеся в регистраторов, секретарей и директоров. Они чувствовали себя несколько неловко в своей новой роли, но отдавались работе с чрезвычайным рвением по шестнадцати часов в сутки. Мечтатели, охваченные целиком одною идеею, они выразили ее в следующем адресе:

«Представителю американской социал-демократии, Альберту Вильямсу, в ответ на его приветствие. Русская демократия в лице представителей Балтийского флота шлет горячие приветствия пролетариату всех стран и сердечно благодарит за поздравления, полученные от наших братьев в Америке».

Товарищ Вильямс явился первою ласточкою на холодных волнах Балтийского моря, которые уже три года окрашиваются кровью детей единой семьи Интернационала.

Русский пролетариат будет стараться до последнего издыхания об'единить всех под красное знамя Интернационала. Свершая революцию, мы не имели в виду единственно политическую революцию. Задачей истинных борцов за свободу является социальная революция. Для этой цели передовой отряд революции, в лице моряков русского флота и рабочих, будет сражаться до конца. Мы уверены, что пламя русской революции охватит весь мир и зажжет огонь в сердцах рабочих всех стран, и мы получим поддержку в нашей борьбе за близкий общий мир.

Свободный Балтийский флот нетерпеливо ждет минуты, когда он сможет притти в Америку и рассказать всем, что Россия, страдавшая под игом царизма, ныне раскрепощена под красным знаменем борьбы за свободу народов.

Да здравствует американская социал-демократия!
Да здравствует пролетариат всех стран!
Да здравствует Интернационал!
Да здравствует всеобщий мир!

Центральный Комитет Балтийского
флота, четвертый с'езд.

На том же столе, где по доброй воле и дружбе моряки написали мне это приветствие, они обмакнули свои перья в купорос и написали нечто другое, адресованное главе правительства, Керенскому, который был не в состоянии об'яснить свое участие в авантюре Корнилова и только что сделал оскорбительный выпад по адресу моряков. И матросы ответили ему следующим образом:

«Мы требуем немедленного ухода из состава правительства «социалистического» политического авантюриста Керенского, который вредит революции своим постыдным шантажем в пользу буржуазии.

Тебе, Керенский, изменник революции, мы шлем наши проклятия. В то время, как наши товарищи погибают в Рижском заливе и все мы, как один человек, готовы положить свою жизнь за свободу, готовы умереть в открытой борьбе на море или на баррикадах, ты стараешься погубить силы флота. Тебе мы шлем наши проклятия!»

В этот день, впрочем, моряки были в праздничном настроении. Они только что учредили значительный фонд для своих товарищей-солдат на Рижском фронте и принимали в гости первого

товарища-иностранца. Секретариат Комитета перевез меня на лоцманской шлюпке на броненосец «Республика». Вся команда находилась на палубе, приветствуя наше прибытие. После официальной встречи они громко требовали речей. Мое знание русского языка было очень скудно, а мой переводчик знал еще меньше по-английски. Я отделывался избитыми революционными фразами. Но простое повторение боевых лозунгов революции привело в восхищение новых учеников социализма. Эти лозунги в моем иностранном произношении вызвали взрыв аплодисментов, пробудивших эхо, подобно залпу из всех батарей корабля.

В этих водах еще не так давно была инсценирована историческая встреча кайзера с царем. Но я уверен, что клики приветствия тогда не были так громогласны (вернее, так искренни), как теперь, когда я, американский интернационалист, пожимал руку Аверичкину, русскому интернационалисту, на палубе этого броненосца у берегов Финляндии.

Корабельное меню.

После столь радушной встречи на палубе нас привели в помещение морского Комитета. Меня забросали бесчисленными вопросами об американском флоте, начиная с такого: «Придерживаются ли американские морские офицеры исключительно точки зрения высших классов?» и кончая следующим: «Содержатся ли американские боевые суда в такой же чистоте, как и наши?» Во время нашей беседы для меня принесли яйца и бифштекс: каждому же члену Комитета подали по большой тарелке с картофелем. Я указал на разницу в блюдах.

— Ваша порция—офицерская, наши же матросские,—об'яснили они.

— В таком случае, зачем же вы делали революцию? — спросил я в шутку.

Они засмеялись и сказали: «Революция дала нам то, чего мы желали всего больше—свободу. Теперь мы хозяева наших судов. Мы хозяева наших жизней. Когда мы не заняты, мы можем отлучаться на берег и имеем право носить штатское платье. Нельзя же сразу требовать всего от революции».

Охватившее весь мир рабочее движение базируется, однако, не только на стремлении к удовлетворению самых необходимых

жизненных потребностей, но и на желании получить большую долю наслаждений. Проезжая как-то ночью через Гельсингфорс, мы обгоняли обычные группы матросов, движущиеся по улицам. Внезапно мы очутились перед зданием с фасадом и размерами большого современного отеля. Мы вошли и, руководясь доносившимися до нас звуками музыки, попали в ресторан отеля. Здесь, в комнате, убранной пальмами, блистающей зеркалами и серебром, сидели обедавшие, слушая Чайковского и Шопена вперемежку с обычным репертуаром американского бара.

Это был первоклассный отель, но вместо обычных клиентов большого отеля,—банкиров, спекулянтов, авантюристов и нарядных дам,—он был переполнен загорелыми моряками флота Российской Республики, расположившимися во всем здании.

По убранным залам двигались матросы в своих синих костюмах, со смехом, шутками и разговором.

Снаружи на вывеске красовалась надпись крупными буквами «Матросский Клуб» и «Привет матросам всего мира». В клубе насчитывалось до десяти тысяч действительных членов, из которых девять десятых было грамотных. Клуб славился своею читальнею, библиотекою и прекрасно иллюстрированным еженедельным журналом «Моряк».

Члены клуба основали также «университет» с последовательными курсами от самого начального до высшего. В Комитете я опрометчиво спросил председателя, какой он окончил университет.

— Ни университета, ни школы,—ответил он печально.— Я происхожу из темного народа, но я революционер. Мы прогнали царя, однако, остался худший враг народа—невежество. Но мы и с ним покончим, это единственный путь для создания истинно демократического флота. Да, он у нас демократический, но у наших офицеров нет демократического образа мыслей. Мы должны подготовлять рядовых матросов для производства в офицеры. На свои курсы клуб завербовал университетских профессоров, членов ученых обществ и нескольких офицеров.

Какое же влияние оказали на флот новая дисциплина и улучшение быта матросов?

Мнения по этому поводу различные. Многие офицеры говорили, что с уничтожением старой дисциплины техническая часть

понизилась. Другие говорили, что, принимая во внимание испытания войны и революции, флот все же в хорошем состоянии. Как на свидетельство его моральной силы, они указывали на сражение у Монзунских островов. При всех преимуществах германцев в численности экипажа и в дальнобойности орудий эти революционеры-матросы сражались блестяще с врагом. Все подтверждают, что боевой дух их был великолепен.

Не могло быть сомнения в том, что матросы с энтузиазмом относились к своему флоту. Они питали к нему чувство коммунальной собственности. Когда лоцманский бот увозил меня с «Республики», Аверичкин указал жестом на серые суда в бухте: «Наш флот! Наш флот! Мы сделаем его лучшим из всех других флотов на свете. Пусть он всегда сражается за правду!»

Тогда, как бы проникая взором сквозь серый туман над водою и далее сквозь красный туман всемирной войны, он прибавил: «До тех пор, пока мы совершим социальную революцию, положим конец всем войнам».

В России эта социальная революция наступила скоро, и эти моряки должны были вскоре очутиться в ее круговороте.

Часть II

РЕВОЛЮЦИЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДНИ

среди белых и красных

ГЛАВА VI.

«ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!»

Опять зима опустилась над голодной, изнемогающей Россией.

Падают последние октябрьские листья, и вместе с ними падают последние остатки доверия к правительству.

Повсюду нерадивость и оргии спекуляции. Поезда со с'естными продуктами подвергаются разграблению. Из печатных станков текут реки бумажных денег.

В газетах бесконечные столбцы, наполненные сообщениями о насилиях, убийствах и самоубийствах. Разнузданные кутежи и бешеная азартная игра в игорных домах.

Реакция царит открыто.

Вместо того, чтобы обвинить Корнилова в государственной измене, буржуазия поет ему хвалебные гимны, как великому патриоту. Но самый патриотизм их—лицемерие и обман. Они же просят уже немцев притти и отрезать Петроград, главу революции.

Родзянко, бывший председатель Думы, не стесняясь пишет: «Пусть немцы возьмут город. Хотя они уничтожат флот, но зато задушат Советы». «Зима—всегда лучший друг России,—говорит буржуазия,—она быть может избавит нас от проклятой революции».

Отчаяние подстрекает к мятежу.

Холодное дыхание зимы несет радость богатым и ужас беднякам. С падением ртути в градуснике растут цены на пищу и дрова. Хлебный паек становится меньше, но длиннее становятся очереди дрожащих от холода женщин, простаивающих ночи напролет на обледенелых улицах. Локауты и стачки увеличивают

ряды миллионов безработных. Озлобление в народе изливается в горьких жалобах, вроде следующей речи выборгского рабочего:

«Терпение! терпение! Нам вечно советуют быть терпеливыми. Но откуда брать это терпение? Разве Керенский дал нам больше хлеба, чем царь? Больше слов и обещаний—это так! но только не больше пищи. По целым ночам вы стоите в очередях, ожидая выдачи обуви, хлеба и мяса,—и мы, как дураки, все еще пишем слово «Свобода» на наших знаменах. Одну только свободу нам и дали—прежнюю свободу умирать с голода».

Печальное зрелище после восьмимесячных парадов и пышных речей! Хромые ноги, неспособные к работе руки и неот'емлемая привилегия умирать от голода или замерзать под сенью красных знамен с широковещательною надписью: «Земля крестьянам! Заводы рабочим! Всеобщий мир!».

Впрочем, они перестали уже носить эти красные знамена и покончили с требованиями и жалобами.

В своем новом настроении, рожденном из отчаяния и разочарования, они перешли к действию, безрассудному, жестокому, но все же действию.

В городах взбунтовавшиеся рабочие выгнали фабрикантов из их контор. Управляющие на заводах пытались остановить их, но их самих бросали в тачки и вывозили с заводов. В машинах вынимали части механизма, портили материалы, и промышленность стала.

В армии солдаты бросают ружья и дезертируют сотнями тысяч с фронта. Эмиссары пытаются остановить их энергичными призывами, но с тем же успехом они могли бы обращаться к обвалам в горах. «Если не будут предприняты решительные шаги к заключению мира до 1-го ноября,—говорят солдаты,—все окопы опустеют... Вся армия устремится в тыл». Во флоте никто уже не подчиняется дисциплине.

В провинции крестьяне громят имения.

Я спрашиваю барона Нольде: Чего собственно хотят крестьяне в вашем имении?

— Самое имение,—отвечает он.

— Но как же они намерены захватить его?

— Они уже захватили его.

В некоторых местах захваты сопровождаются расхищениями. Небо над Тамбовом окрашено пламенем горящих риг и по-

мещичьих домов. Сами помещики бегут из своих усадеб. Доведенные до ярости крестьяне смеются над ораторами, пытающимися успокоить их. Войска, посланные для подавления мятежа, переходят на сторону крестьян. Россия головою вниз катится в пропасть.

Вся эта картина несчастья и разрушения увенчивается горстью болтунов, именуемых Временным Правительством. Оно уже почти труп, поддерживаемый изнутри угрозами, а извне обещаниями союзников. Для выполнения задач, какие лишь по плечу могучему великану, оно слабо, как дитя.

На все требования народа у него только один ответ: «Ждите!» Сначала: «Ждите конца войны», теперь: «Ждите Учредительного Собрания».

Но народ не хочет больше ждать. Последний остаток веры в правительство исчез.

У них вера лишь в самих себя; одна вера, что только они могут спасти Россию из мрачной пропасти разрушения; одна вера в учреждение, созданное лишь ими самими. Они ждут спасения только от новой власти, созданной из их собственной среды. Все свои упования они возлагают на Советы!

«Пусть Советы будут правительством».

С лета начинается постоянный рост Советов. Они втянули в себя жизненные соки из каждой общины. Они были школами для воспитания, насаждая в нем веру, доверие к самому себе.

Сеть местных Советов реорганизовалась в широкую прочно устроенную организацию и, так как старый аппарат разлетелся вдребезги, новый принял его функции. Советы во многих отношениях уже действовали как правительство. Было необходимо лишь об'явить их официально правительством. Тогда Советы назывались бы тем, чем они были в действительности. Теперь из глубины масс раздался мощный крик: «Вся власть Советам!» Июльское требование столицы стало требованием всей страны. Подобно лесному пожару, оно охватило ее всю. Матросы Балтийского флота перекинули это требование своим товарищам на Черном, Белом и Желтом морях,—и эхом оно отразилось обратно. Земля и фабрика, казармы и боевой фронт присоединились к этому лозунгу, звучавшему все громче и настойчивее с каждым часом.

Петроград шестьюдесятью огромными народными митингами громогласно вошел в этот хор в воскресенье 4 ноября.

Троцкий, прочитав ответ Балтийского флота на мое приветствие, просил меня сказать речь в Народном Доме.

Здесь бесчисленные волны людей неслись внутрь Дома и текли вдоль корридоров. Они вливались в зал, наполняя их битком и всплескивая сотни до самого потолка, где они застревали, как гирлянды из пены. При встречном течении из толпы раздавался могучий голос, падал и разбивался подобно прибою, гремящему у берега. Сотни тысяч голосов кричали: «долой Временное Правительство! вся власть Советам!» Сотни тысяч рук поднимались в знак того, что они дают клятву сражаться и умереть за Советы.

Терпению бедных настал конец. Темные массы, так долго равнодушные, но пробудившиеся наконец, отказываются поддаться гипнозу словесного жонглерства государственных людей. Презирая их угрозы, смеясь над их обещаниями, массы берут инициативу в свои руки, требуя от вожаков вести революцию вперед или выйти в отставку. Впервые рабы и эксплоатируемые, сознательно отличая час освобождения, голосуют за революцию, отождествляя себя с правительством шестой части света. Трудная задача для людей, не прошедших государственной школы. Но стоят ли они сами на уровне этих задач? Во всяком случае они способны и к самообладанию. По окончании революционных митингов все расходятся по домам в полном спокойствии.

Бедная, на смерть перепуганная буржуазия успокоилась. Дома не разграблены, магазины не разбиты, щеголи в белых воротничках не расстреляны.

По ее мнению, все обстоит благополучно; значит не будет мятежа. Но правильный вывод ускользает от них. Народ пока не позволяет себе вспышек, потому что знает лучшее употребление для своих сил. Он стремится к революции, но не к бунту. А революция требует порядка, плана и работы, тяжелой, напряженной работы.

Массы направляют революцию.

Эти возмутившиеся массы, вернувшись домой, организуют Комитеты, приводят в порядок списки, формируют отделения Красного Креста, приготовляют ружья. Руки, поднимавшиеся при го-

лосовании за революцию, держат теперь винтовки. Они готовы померяться силами с контр-революционерами, мобилизованными против них. В Смольном помещается Военно-Революционный Комитет, откуда революционеры получают приказы. Здесь также и другой Комитет Ста Тысяч, т.-е. сами массы. Нет ни переулка, ни казарм, ни зданий, куда бы не проник этот комитет. Он пробирается на заседания черносотенцев, в правительство Керенского, в среду интеллигенции. Через носильщиков, половых, извозчиков, кондукторов, солдат и матросов комитет раскидывает свои сети над целым городом. Они все видят, все слышат, обо всем сообщают в главный штаб. Устроившись таким образом, комитет может знать о всяком движении врага. Всякая попытка задушить и обойти революцию парализуется немедленно.

Предпринимается попытка разбить веру масс в их вожаков яростными нападками на них. Керенский кричит с трибуны: «Ленин государственный преступник, вдохновляющий на грабеж и на самую ужасную резню, которая покроет позором всю Россию». Немедленно массы на это отвечают грандиозною овациею в честь Ленина и превращением Смольного в арсенал с целью его охраны.

Был еще замысел потопить революцию в крови и беспорядках. Темные силы призывают народ к восстанию и устройству еврейских погромов и избиению социалистов. В ответ на это рабочие расклеили по всему городу плакаты со следующим содержанием. «Граждане! Мы призываем вас поддерживать полное спокойствие и самообладание. Наблюдение за порядком в твердых руках. При первой же попытке к грабежу и стрельбе виновные будут стерты с лица земли».

Пытались также изолировать отдельные части революционных сил; перерезывались телефонные провода между Советом и казармами, но сообщение немедленно восстанавливалось посредством установки телефонографных аппаратов. Юнкера развели мосты и отрезали рабочие районы, но матросы снова навели мосты. Редакции и типографии коммунистических газет были заперты и опечатаны; красногвардейцы сорвали печати и привели в действие печатные станки.

Пытались подавить революцию силою оружия. Керенский вызвал с фронта надежные полки, относительно которых еще можно было расчитывать, что они не откажутся стрелять в рабо-

чих. По всем шоссе, по которым двигались к городу войска, революция расположила свои силы. Эти силы идут в атаку на врага, но не с ружьями, а с идеями. Они направляют убийственный огонь доказательств и убеждений. Результат получается тот, что войска, вызванные раздавить революцию, сами переходят на ее сторону.

К этим новообращенным в коммунистическую веру присоединяются все солдаты, даже казаки. «Братья-казаки,—гласит воззвание,—вы восстановлены против нас клеветниками, паразитами, помещиками и вашими генералами, которые хотят подавить революцию. Товарищи-казаки! Не поддавайтесь лукавым планам Каинов».

И казаки тоже выстраиваются под знаменем революции.

ГЛАВА VII.

7-е НОЯБРЯ—НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА.

В то время, как Петроград был весь в сумятице сталкивающихся патрулей и враждебных голосов, люди со всех концов России стекаются в столицу. Это приезжают делегаты на Второй Всероссийский С'езд Советов, собирающийся в Смольном, куда теперь обращены все взоры.

Смольный, бывший раньше учебным заведением для дочерей дворян, теперь центр Советов. Это громадное, величественное здание на берегу Невы. Холодный и серый днем, Смольный по ночам светится сотнями ярко-освещенных окон и кажется огромным храмом, и точно, это—храм революции. Два сторожевых факела перед его воротами, поддерживаемые караульными солдатами, горят как жертвенные огни. Здесь сосредоточены надежды и молитвы неисчислимых миллионов бедняков и обойденных судьбою. Здесь они ждут освобождения от страданий и притеснений многих лет.

Здесь я видел рабочего, худого, в отрепьях, с трудом бредущего по темной улице. Подняв вдруг голову, он заметил массивный фасад Смольного, весь горевший огнями, как золотом сквозь падающий снег. Сняв шапку, рабочий с минуту стоял с обнаженною головою и протянутыми руками. Затем с криком «коммуна! народ! революция!» он бросился вперед и исчез стремительно в воротах.

С войны, из изгнания, из тюрем, из Сибири стекаются делегаты в Смольный. После ряда лет, когда не получалось ни одного известия о старых товарищах, неожиданные встречи и возгласы радости, об'ятья, отрывистые расспросы, жадный обмен мнений о с'езде и бесконечные споры.

Смольный теперь огромная площадь, шумная, как гигантская кузница, с ораторами, призывающими к оружию, с аудиторией, то рукоплещущей, то негодующей, со звонками председателей, призывающих к порядку, с грудами оружия, с пулеметами, скользящими по цементному полу, с хорами революционных песен, и с громом оваций Ленину и Зиновьеву, когда те появляются в залах.

Все делается с лихорадочною быстротою, и поспешность ежеминутно возрастает. Вожаки рабочих заражают энергиею, не зная сна, усталости и слабости нервов,—сказочные люди, поставленные необходимостью отвечать на текущие вопросы революции.

В десять часов сорок минут вечера на 7 ноября открывается исторический митинг, столь чреватый последствиями для России и всего мира. После частных партийных митингов делегаты направляются в порядке в большой зал собрания. Дан, представитель антибольшевиков, звонит на трибуне колокольчиком для водворения порядка и об'являет: «Первая сессия Второго С'езда Советов открыта». Сначала происходят выборы президиума. Большевики получают 14 мест, все остальные партии 11. Старый руководящий орган уступает свое место, и лидеры большевиков, недавние отверженцы, об'явленные вне закона, занимают свои места. Правые партии, состоящие в большинстве из интеллигенции, требуют пересмотра порядка дня. Дебаты—их сила. Они пленяют академическими выпадами.

Но внезапно отдаленный грохот выстрела поднимает всех на ноги. Все изумлены. Это выстрел пушки с крейсера «Аврора», открывшего огонь по Зимнему дворцу. Тяжелая, но заглушаемая расстоянием канонада доносится с неизменными правильными перерывами, как реквием, возвещающий смерть старому порядку и посылающий приветствие новому. Это голос масс, доносящий, как гром, до слуха делегатов требование: «Вся власть Советам». Таким образом перед с'ездом остро поставлен вопрос: об'явит ли он Советы правительством России и даст ли он законное утверждение новой власти?

Интеллигенция дезертирует.

Произошел один из поразительнейших парадоксов истории и одна из колоссальнейших ее трагедий: отказ интеллигенции. Между делегатами насчитывалось множество образованных людей.

Интеллигенты сделали «темный народ» предметом своего обожания. «Ходить в народ»—стало их религиею. Для народа они переносили страдания бедности, тюрьмы и ссылки. Они волновали неподвижные массы революционными идеями, подстрекая их к восстанию. Беспрестанно превозносились характер и благородство души крестьянина. Короче, интеллигенция сотворила себе кумир из народа. И теперь народ сам восстал с гневом и громом грозного бога, восстал надменно и деспотически. И действовал, как бог.

Но интеллигенция отвергла этого бога, который перестал уже слушаться ее и над которым она потеряла власть. Она потеряла веру в прежнего бога и теперь отрицает его право на возмущение.

Перед этим, ею самою созданным чудовищем, интеллигенция пала духом, трепеща от страха, содрогаясь от гнева. Прежнее божество обратилось в дьявола, несущего гибель и увлекающего Россию в хаос и «преступный бунт против власти». И интеллигенты набросились на народ, грозя, проклиная, беснуясь и умоляя. Как делегаты они отказались признать эту революцию. Они отказались позволить с'езду об'явить Советы правительством России.

Столь ничтожные, столь бессильные, могут ли они признавать или не признавать изменчивые волны моря или извергающий лаву вулкан? Эта революция стихийна, неумолима—всюду в казармах, в окопах, на заводах, на улицах. Официально она здесь на с'езде в числе сотен рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Неофициально она здесь же в массе, занимающей каждый дюйм пространства, взлезающей на колонны и подоконники, наполняя зал собрания туманом от своего дыхания и электричеством от напряжения своих чувств.

Народ присутствует здесь для того чтобы видеть выполнение своей революционной воли—об'явление Советов правительством России. В этом требовании не может быть никаких уступок! Каждая попытка изменить их решение, всякое усилие парализовать их волю вызывают взрывы гневных протестов.

Правые хотят предложить длинную резолюцию. Но толпа проявляет нетерпение. «Больше никаких резолюций! никаких слов! мы хотим дела! мы хотим власти Советов».

Интеллигенция предлагает, по своему обыкновению, компромиссный выход, создав коалицию всех партий.

«Возможна лишь одна коалиция!—кричат им в ответ—коалиция рабочих, солдат и крестьян!» — Мартов призывает «к мирному разрешению опасности гражданской войны».—«Победа! победа! вот единственное решение!»—отвечают ему.

Офицер Кучин пытается устрашить массы тем, что Советы изолированы и что вся армия против них. «Лжец! штабной!—ревут солдаты.—Ты говоришь от имени штаба, а не от лица солдат в окопах! Мы требуем одного: «Вся власть Советам!».

Их воля подобна стали. Никакие угрозы, никакие настойчивые просьбы не сломают и не погнут этой воли. Ничто не может отвлечь их от их прямой цели.

Наконец, приведенный в ярость Абрамович кричит: «Мы не можем более оставаться здесь и быть ответственными за эти преступления. Мы приглашаем всех делегатов оставить собрание». С драматическим жестом он сходит с трибуны и направляется к выходу. Около восьмидесяти делегатов поднимаются со своих мест и прокладывают себе дорогу вслед за ним. «Пусть уходят!—кричит Троцкий,—пусть уходят! Их сейчас так забраковали, что только и остается всех их смести в мусорную яму истории». Под бурю издевательств и оскорбительных эпитетов, вроде «ренегаты! изменники!» интеллигенция выходит из зала и из революции. Глубокая трагедия! Интеллигенция отшатнулась от революции, вызвать которую она помогала сама; она покинула народ в самый разгар борьбы. Величайшая глупость к тому же! Она не могла изолировать Советы, но изолировала самое себя. На стороне Советов остались надежные батальоны для защиты.

Советы об'явлены правительством.

С каждой минутой приходят известия о новых победах революции—об аресте министров, о захвате государственного банка, телеграфной и телефонной станций и главного штаба. Один за другим опорные пункты власти переходят в руки народа. Призрачная власть старого правительства разбивается молотом восстания!

Комиссар, тяжело дыша, покрытый грязью, всходит на трибуну и об'являет: «Гарнизон Царского Села высказался за Советы. Он стоит на карауле у заставы Петрограда». Другой вестник сообщает: «Батальон велосипедистов за Советы». Тогда Крыленко, весь дрожа от волнения, оглашает телеграмму: «Приветствие

Совету от двенадцатой армии! Солдатский Комитет принимает командование над Северным фронтом». И в заключение в конце этой тревожной ночи в результате столь горячих прений, простая декларация: «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов—Военно-Революционного Комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено...» и т. д.

Небо и ад! Плач и об'ятия! Понеслись, заскакали курьеры, зазвенели и загудели телефоны и телеграфы; на фронт помчались автомобили; аэропланы полетели через реки и равнины. Беспроволочный телеграф сообщил весть через океаны. Все вестники разнесли по свету великую новость!

Воля революционно-настроенных масс восторжествовала. Советы стали правительством.

Историческое заседание окончилось в шесть часов утра. Делегаты, шатаясь от усталости, с опухшими после бессонницы глазами, но ликующие расходились, спотыкаясь, по каменной лестнице и через ворота Смольного.

На улице еще мрак и холод, но рассвет уже загорелся красным заревом на востоке.

ГЛАВА VIII.

ОГРАБЛЕНИЕ ЗИМНЕГО ДВОРЦА.

Мы, пятеро американцев, Луиза Брайент, Джон Рид, Бэсси Битти, Гомберг и я, были зрителями глубокой драмы, разыгравшейся в залах Смольного; мы видели также другое важное происшествие в ночь 7-го ноября—взятие Зимнего дворца.

Мы сидели в Смольном, захваченные речами ораторов, когда из мрака ночи донесся в ярко-освещенный зал другой голос,—грохот пушки с крейсера «Аврора», открывшего огонь по Зимнему дворцу. Твердо, настойчиво, ворвался зловещий выстрел, нарушая очарование речей ораторов. Мы не могли противиться его зову и поспешили выйти.

Огромный мотор, весь содрогаясь своим механизмом, был готов отправиться в центр города. Мы примостились снаружи, и мотор понесся во мраке, как ныряющая комета, развевая позади себя выбрасываемые воззвания. Из аллей и переулков выбегают темные фигуры, выхватывают друг у друга листы и читают.

Министры временного правительства, за исключением Керенского, все еще сидят на заседании в Зимнем дворце. Вот почему стреляют из ружей с «Авроры». Выстрелы загремели в ушах министров призывом к сдаче. Правда, стреляли холостыми зарядами, но они заставили колебаться воздух, потрясая здание и нервы министров.

Когда мы под'езжали к дворцовому скверу, стрельба затихала. Красногвардейцы ползком подбирали своих мертвых и умирающих. Чей-то голос кричит в темноте: «юнкера сдаются!». Но, помня о своих потерях, осаждающие матросы и солдаты прячутся за прикрытиями.

Толпа врывается во дворец.

Новые толпы собираются на Невском. Образуя колонны, они проходят красную арку и в молчании ползут дальше. Около баррикад они появляются в полосе света, исходящего из дворца. Они взбираются по сложенным дровам и врываются через железные ворота в открытые двери западного крыла. Из холода и темноты они внезапно попадают в тепло и свет. Из лачуг и казарм они очутились в блестящих залах и раззолоченных комнатах. Вот действительно революция—строители входят в выстроенный ими дворец!

И какое строение! Украшенные статуями из золота и бронзы, покрытые восточными коврами комнаты его убраны дорогими обоями и картинами и залиты светом тысяч ламп в хрустальных канделябрах; подвалы его наполнены доверху редкими старыми винами и ликерами. Добыча превосходит все ожидания. Почему не захватить ее?

Неодолимая жажда грабежа овладела толпою—та жажда, которую разжигают долгий голод и лишения при виде богатств. Даже мы, зрители, не были вполне свободны от этого соблазна. Он уничтожает последнюю преграду и воспламеняет страсть в крови—страсть разорять и грабить.

Вдоль стен сводчатой комнаты, в которую мы вошли, тянулся ряд огромных запакованных ящиков. Прикладами ружей солдаты сбивают крышки с ящиков и расхищают занавесы, белье, платье, вазы и тарелки.

Презирая эту незначительную добычу, толпа вихрем несется за более богатой. Авангард теснится в великолепных комнатах, открывая двери других, еще более роскошных, смежных с кабинетами и гардеробными. На все набрасываются с криками жадной радости. Но вот слышатся крики ярости и разочарования. В этих комнатах зеркала уже перебиты, обои сорваны, картины прострелены—следы вандализма побывавших здесь ранее. Юнкера сняли сливки грабежа.

Как много пропало! Значительно больше того, из-за остатков чего теперь еще дерутся! Но можно ли отказать им в праве на этот дворец и на все, что в нем находится? Все, что находится здесь—результат труда их самих и их отцов. Все это принадлежит им по праву создания и по праву победы. С дымящимися

ружьями в руках они берут добычу.—На долго ли? Веками все это принадлежало царям, вчера Керенскому, а кому будет принадлежать завтра? Кто скажет? Этот день—подарок революции. Даже завтра может сюда притти контр-революция. Теперь же, когда все в их руках, могут ли они отказаться от всего? Здесь, где придворные веселились веками, разве нельзя беднякам пропировать хоть ночь? Их полное обид прошлое, лихорадочное сегодня, неизвестное будущее—все толкает их на грабеж, раз грабеж возможен.

Сонм демонов ворвался во дворец. Они носятся и перекликаются мириадами звуков. Раздираемое сукно, треск ломаемого дерева, скрип стекла разбитых рам под тяжелыми сапогами на паркетном полу и гул тысячи голосов под потолком,—голосов торжествующих, спорящих, ругающихся при дележе добычи; голосов, похожих на ржанье, пронзительных, бормочущих и проклинающих!

Но вот иной голос врывается в это столпотворение,—ясный, зовущий голос революции. Она говорит языком своих горячих приверженцев, петроградских рабочих. Сюда только что подоспела горсть их, тщедушных, маленьких; но, врываясь в ряды дюжих солдат, они кричат: «Не брать ничего! Революция запрещает. Не грабить! Это собственность народа!».

Дети, борющиеся с циклоном, карлики, нападающие на армию великанов!

Обуздывающая душа революции.

Но этих рабочих приходилось слушаться. В их словах слышалась воля революции. Она делала их бесстрашными и задорными. Рабочие набросились с яростью на сильных солдат, осыпая их ругательствами и вырывая добычу из их рук.

Маленький рабочий догнал рослого мужика, убегавшего с тяжелым шерстяным одеялом. Он хватается за одеяло, тянет его за конец и ругает здорового парня на чем свет стоит.

— Пусти одеяло!—орет парень с перекошенным от ярости лицом.—Одеяло мое!

— Нет! Нет!—кричит рабочий,—не твое, оно принадлежит всему народу. Ничего нельзя брать из дворца.

— Одеяло-то взять можно, в избе холодно.

— Жаль, товарищ, что тебе холодно, но лучше тебе потерпеть от холода, чем революции от твоего грабежа.

— Чорт тебя возьми!—восклицает мужик.—Ну, на что же мы делали революцию, как не на то, чтобы она давала пищу и одежду народу?

— Так, товарищ, и революция даст тебе в свое время все, что нужно, но не нынче ночью. Если отсюда что-нибудь пропадет, нас будут называть хулиганами и разбойниками, а не настоящими социалистами. Наши враги скажут, что мы пришли сюда не для революции, а для грабежа. И мы не должны ничего брать, потому что все это собственность народа. Сбережем все для чести революции.

Социализм! Революция! Собственность народа! Мужик видел, в силу чего у него взяли обратно одеяло. Раньше все делалось во имя царя и бога, а теперь все это делается во имя «социализма, революции, народной собственности».

В последнем понятии было нечто такое, что крестьянин мог уразуметь. Оно было на уровне его общественного развития. И как только он понял это, он выпустил из рук платок и, бросив последний трагический взгляд на свое сокровище, побрел прочь. Позже я видел его беседующим с каким-то солдатом. Они разговаривали о народной «собственности».

Рабочие неуклонно заставляли признавать свой престиж, пуская в ход просьбы, об'яснения и угрозы. Какой-то большевик-рабочий яростно теребит трех солдат, направляя на них револьвер.

— Вы ответите мне, если хоть дотронетесь до этой конторки,—кричит он.

— Ответим!—зубоскалят солдаты.

— Кто ты такой? Ты тоже громил дворец. Мы ответим только самим себе.

— Нет, вы ответите перед революцией,—возражает рабочий сурово. И он говорит с таким убеждением, что солдаты чувствуют в нем власть революции. Они слушают и повинуются.

Революция пробудила смелость и пыл в этих массах. По ее воле они шли на приступ дворца, а теперь она обуздывает их, превращая бедлам в исполнительную власть, успокаивая и вводя порядок.

— Все вон! очистить дворец!—раздается в коридорах, и толпа начинает подаваться к дверям. На каждом выходе стоит самообразовавшийся комитет для обыска и осмотра. Комитет останавливает каждого выходящего, исследуя его карманы, рубашку, даже сапоги, собирая в отдельные кучи «сувениры»—статуэтки, подсвечники, вешалки, шали, вазы. Кратковременные хозяева умоляют, как дети, оставить им их трофеи, но комитет непреклонен и отвечает неизменно: «В эту ночь ничто не будет взято из дворца».

И в эту ночь ничего не берут из страха перед красногвардейцами, хотя позже ворам и вандалам удается убежать со многими драгоценностями.

Затем комиссары занялись Временным Правительством и его защитниками. Их окружают и ведут под конвоем к выходу. Первыми идут министры, арестованные на заседании в Государственном зале за столом, покрытым зеленым сукном. Они спускаются по лестнице в молчании. В толпе кругом них не раздается ни слова, ни одной насмешки. Но кто-то из сборища снаружи не удерживается от издевательства, когда матрос зовет автомобиль: «Пусть пройдутся! они достаточно покатались». Толпа гогочет и толкает министров, но красные матросы, с направленными штыками, плотно окружают арестованных и ведут их по мостам через Неву. Выше всех виднеется над конвоем голова Терещенко, украинского капиталиста, отправляемого теперь из министерства иностранных дел в тюрьму Петропавловской крепости взамен большевика Троцкого, переведенного из тюрьмы Петропавловской крепости в министерство иностранных дел.

Упавших духом юнкеров вели под шум криков: «Провокаторы! Изменники! Убийцы!». В то утро каждый юнкер дал клятву сражаться до предпоследней пули; последнею каждый должен был бы покончить с собою, но не сдаваться большевикам. Теперь они отдали свое оружие этим большевикам, торжественно обещавши никогда более не употреблять против них. (Несчастные юноши! они нарушили свое обещание).

Последними из арестованных, оставивших дворец, были девушки-солдаты из женского батальона. Большая часть их была пролетарского происхождения. «Позор! Позор!—кричали красно-

гвардейцы.—Работницы сражаются с работниками!». Выражая свое негодование, некоторые из них хватали работниц, тряся их и ругая.

Это было все, что случилось с девушками-солдатами, из которых одна впоследствии покончила самоубийством. На следующий день враждебная пресса распространяла рассказы об отвратительных жестокостях, совершенных над женским батальоном одновременно с сообщениями о грабеже и разгроме дворца красногвардейцами.

Между тем, ничто так не чуждо настоящей природе рабочего класса, как инстинкт разрушения. Будь иначе, история обогатилась бы рядом многих других повествований о событиях 8-го ноября. Она бы рассказывала, что местью долго страдавшего народа великолепное здание царей превращено в груду разбитых камней и дымящейся золы.

Веками стояло оно на берегу Невы, холодное и не радующее сердце. Народ жаждал видеть исходящий из него свет, а оно приносило лишь мрак. К нему взывали о сострадании, а оно отвечало издевательством, кнутом, сжиганием деревень, ссылкою в Сибирь. В зимнее утро 1905 года тысячи народа пришли сюда, беззащитные, умоляющие царя-«батюшку» загладить прежние обиды. Но дворец ответил пушками и ружьями, окрасив снег кровью. Для масс это здание было памятником жестокости и притеснений. Сравняй они его с землей, они показали бы пример мести оскорбленного народа, убравшего навсегда с глаз ненавистный символ своих страданий.

Вместо этого они предотвратили всякую возможность разрушения исторического памятника.

Керенский поступил совершенно иначе. Он легкомысленно превратил Зимний дворец в арену конфликта, сделав его центром своего кабинета и своего сонного штаба. Но представители этих буйных масс, овладевших дворцом, об'явили, что дворец не будет принадлежать не только им, но и Советам, а станет достоянием всех. Советским декретом он об'явлен народным музеем. Охрана его была официально передана в руки комитета художников.

Новое отношение к собственности.

Таким образом события обманули другое зловещее пророчество. Керенский, Дан и прочие из интеллигенции испускали крики против революции, предсказывая отвратительную оргию преступлений и грабежа, разнузданность низменных страстей черни. Раз голодные и озлобленные массы зашевелятся, говорили они, то, подобно обезумевшему стаду, они растопчут, сокрушат и уничтожат все. «Даже Горький предсказывал конец света» (Троцкий).

И вот революция совершилась. Случаются, правда, отдельные факты вандализма, и богато одетые буржуа возвращаются иногда домой без своих дорогих шуб, но это уже дело рук грабителей, занимавшихся своим ремеслом и до революции.

Но все это отдельные факты. Первые плоды революции—закон и порядок. Никогда Петроград не был безопаснее, как после своего перехода в руки масс. Небывалое спокойствие царит на улицах. Разбои и грабежи сошли почти на-нет. Разбойники уступили железной руке закона.

И это не только отрицательное обуздание, порядок, насаждаемый страхом. Революция рождает особенное уважение к правам собственности. Из разбитых окон магазинов можно достать и пищу и платье, но они остаются нетронутыми. Что-то особенно трогательное в том, что голодный человек, имея таким образом под рукою пищу, не пользуется случаем,—это происходит, главным образом, из преклонения перед волею революции. И революция повсюду распространяет свое благотворное влияние вплоть до самых отдаленных деревень. Крестьяне не жгут более имений. Правда, высшие классы уверяют, что это основано на уважении к святости собственности—курьезная претензия в конце мировой войны, за которую правящие классы должны еще ответить. Это по их воле города предавались пламени, страны покрывались развалинами, глубина моря поглощала корабли, цивилизация уничтожалась, и созидались еще более ужасные орудия разрушения.

На чем основано уважение собственности у буржуазии? В сущности сама буржуазия производит мало или не производит ничего. Собственность достается ей по наследству или дается при

помощи ума и счастья. Но рабочему классу собственность достается ценою слез и крови. Он знает ей цену.

Грудь впалая; как вдавленный
Живот; у глаз, у рта
Излучины, как трещины
На высохшей земле.
Рука—кора древесная,
А волосы—песок.

Добытое не собственным тяжким трудом люди не растрачивают зря. Зная цену добытого, они в нем видят нечто священное.

Социальная революция, в сущности, апофеоз права на собственность. Последняя облекается новою святостью. Передачею собственности в руки производителя достигается хранение благосостояния в руках его естественного и ревностного стража—самого производителя. Сами создатели являются лучшими охранителями.

ГЛАВА IX.

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ, БЕЛАЯ ГВАРДИЯ И ЧЕРНАЯ СОТНЯ.

Советы об'явили себя правительством 7-го ноября. Но одно дело взять власть, другое—удержать ее. Одно дело выпускать декреты, другое—поддержать их силою штыков.

Советы в скором времени обрели большую боевую силу. Они воспользовались также боевою силою искалеченного военного аппарата, который в то время перестал действовать, потому что офицеры саботировали. Революционный генеральный штаб не мог исправить его сверху и обратился непосредственно к рабочим.

Открыли запасы бензина и моторов, и наладили транспорт. Набрали ружей, повозок и лошадей для сформирования артиллерийских отрядов. Реквизировали провизию, фураж и запасы Красного Креста и направили их быстро на фронт.

Было захвачено 10.000 ружей, отправленных Каледину, и распределено между заводами, где работа молотом была заменена маршировкой.

Вместо распоряжений мастеров в воздухе звучат слова команды, отдаваемой матросами, обучавшими неловкие добровольческие отряды.

По улицам носились моторы, разбрасывавшие прокламации с призывом к оружию.

В ответ на призыв везде появляются рабочие с патронташами на пальто, свернутым одеялом через плечо, с лопатою, котелком и револьвером за поясом. Длинные неправильные линии штыков развернулись в темноте.

Красный Петроград поднимается вооруженный для отражения наступающих с юга сил контр-революции. Пронзительно завывающие фабричные гудки заменяют набат.

По всем дорогам, ведущим из города, стремится поток мужчин, женщин и детей с пиками, ружьями, бомбами. Пестрая, по-зимнему одетая толпа. Ни знамен, ни подбадривающих барабанов. Нагруженные повозки обдают грязью, талый снег забивается в обувь, ветер с моря пронизывает до костей. Но они спешат к фронту, не останавливаясь, как серый день переходит в мрачную ночь. Позади них город, освещающий своими огнями небо, и теперь они подвигаются в темноте. Поля и леса наполняются темными призраками, разбивающими палатки, роющими окопы, протягивающими проволоку. Еще короткий день, и десятки тысяч, подвинувшись на двадцать миль от Петрограда, останавливаются живым оплотом против сил контр-революции.

Для военных экспертов это не более как сбродная армия, сволочь. Но этим «сбродом» движут стремления и силы, еще не упомянутые в руководствах стратегии. Массы эти экзальтированы видениями нового мира, в их жилах тот же огонь, который двигал вперед прежних крестоносцев. Они бьются с самозабвением, часто с искусством. Они устремляются в частый кустарник, где прячутся в засаде враги, нападают на вооруженных казаков и стаскивают их с лошадей. Огонь пулеметов косит и расстраивает их ряды, но они собираются снова. Раненых выносят из огня и перевязывают; умирающих напутствуют словами «революция, народ»— и те умирают с последним вздохом: «Да здравствуют Советы!».

Беспорядок, смятение, паника расстраивают, конечно, ряды этих рекрутов из фабрик и трущоб, но пыл сражающихся за свое дело, хотя изнуренных голодом и работою мужчин и женщин оказывается более сильным фактором, чем дисциплина правильно организованных батальонов их врага; он расстраивает эти батальоны; он побеждает дух закаленных в бою казаков. «Верные» дивизии, взятые с фронта, отказываются решительно расстреливать рабочих.

Сопротивление сломано и тает. Переодетый Керенский бежит с фронта. Главнокомандующий армиями, предназначенными для уничтожения большевиков, не может заставить личный конвой бежать с ним. Пролетарии побеждают по всей линии.

Белые занимают телефонную станцию.

В то время, как советские массы бьются около Петрограда, контр-революция внезапно поднимает голову в тылу и намеревается поразить силу Совета в самом Петрограде.

Юнкера, давшие слово после сдачи в Зимнем дворце, нарушают клятву и присоединяются к этой восставшей белой гвардии. Им дается поручение захватить телефонную станцию.

Телефонная станция—один из жизненных центров столицы; отсюда разбегается миллион проволок, которые, подобно миллиону нервов, связывают город. В Петрограде телефонная станция помещается в огромном каменном здании на Морской. Здесь были поставлены караулы. День их утомительной работы скрашивался ожиданием смены на ночь. С наступлением ночи отряд в двадцать человек показался на улице. Караульные думали, что пришла ожидаемая смена. Но оказалось не так. Это был отряд из офицеров и юнкеров, переодетых красными. С ружьями на перевес они сообщают пароль красным. Те с полным доверием ставят ружья в стойку и собираются уходить. Мгновенно двадцать револьверов направляются на красных.

— Товарищи!—восклицают изумленно красные.

— Молчать, свиньи!—кричат офицеры.—Ступайте в тот зал и держите язык за зубами, иначе мы прострелим вам башку.

Двери захлопываются за одураченными караульными, которые вместо смены и освобождения, попадают в плен к белым. Итак, телефонная станция в руках контр-революционеров.

Утром новые хозяева заканчивали укрепление станции под руководством французского офицера. Внезапно офицер обращается ко мне с суровым выражением лица:

— А вы зачем здесь?

— Я корреспондент-американец,—ответил я. Заглянул посмотреть, что здесь делается.

— Ваш паспорт!—Я показал ему бумаги. Это произвело впечатление, и он стал извиняться: конечно, это не мое дело. Как и вы, я только заглянул сюда узнать, что здесь случилось.

Тем не менее он продолжал свою работу.

По обеим сторонам главного входа юнкера воздвигли баррикады из ящиков, автомобилей и бревен. Они заманивали проезжавшие мимо автомобили и ловили прохожих, которые, по их мне-

нию, могли состоять на советской службе. Таким образом им достался большой приз в лице Антонова, советского комиссара по военным делам. Проезжая мимо в автомобиле, он был неожиданно стащен с сиденья и, прежде, чем мог притти в себя от изумления, двери захлопнулись за ним, и он попал в плен к контр-революционерам.

Его досада на то, что его арестовали была превзойдена лишь их радостью по этому случаю. Среди неорганизованных масс революционного Петрограда вожаков было чрезвычайно мало. Юнкера знали, на основании данных военной науки, что массы без руководителей не могут действовать успешно против их крепости, военный руководитель красных был теперь в их руках.

Революция собирает свои силы.

Но некоторых вещей эти офицеры не знали. Не знали они, что революция не зависит от одного или даже нескольких умов, но зависит от коллективного рассудка русских масс. Они не знали, как глубоко революция захватила ум, инициативу и силы этих масс и сковала их в одно целое. Не знали, что революция была живым организмом, поддерживающим самого себя, самоуправляющимся и в час опасности собирающим вокруг себя все скрытые силы в целях самозащиты.

Когда яд входит в кровь человеческого организма, все тело чувствует опасность, как будто в нем поднимается тревога.

В сотнях артерий особые тельца—фагоциты спешат атаковать ядовитый центр. Напав на пришельца, они стараются изгнать его. Это не есть сознательный акт мозга, но бессознательный инстинкт, от природы врожденный, заложенный в человеческом организме.

Теперь в тело красного Петрограда, угрожая самой его жизни, вошел злокачественный яд контр-революции. Реакция происходит немедленно. Самопроизвольно по сотне улиц и артерий спешат тельца (в этом случае красные) к зараженному центру—телефонной станции. Свист летящей пули, треск и расщепленное пулею бревно возвещают о прибытии первого красного вооруженного отряда.

Трах-трах! Пуля, расколовшая бревно, возвещает о прибытии первого маленького красного отряда. Трах-трах! Трах-трах!

Ливень свинца, отбитые осколки камня, падающие со стены, все это указывает на прибытие нескольких отрядов.

Смотря через баррикады, контр-революционеры уже видят отряды красногвардейцев в конце улицы. Вид их побуждает старого царского офицера готовиться к защите. «Ружья на прицел!— кричит он.—Убить эту сволочь!» По всей улице проносится буря ружейного и пулеметного огня. Подобно шумящему тростнику улица полна свиста пуль. Но убитых красных нет. У революционеров нет желания быть убитыми.

Произошло нечто другое, чем в предыдущие дни. Тогда «уличный сброд» услужливо ставил себя на пути выстрелов. Сотнями убивали их в сквере Зимнего дворца, в куски расстреливали артиллериею, топтали казачьими лошадьми, косили пулеметами. Это было так легко! Как легко было бы уничтожать также красных, если бы они ринулись на баррикады.

Но революция не расходует своего материала зря. Она научила уже массы осторожности и преподала им первые уроки стратегии: сначала узнать, чего хочет враг, и не позволять ему это делать. Красные видели, что контр-революционеры, скрывавшиеся за баррикадами, хотят их уничтожить и сами решили разрушить баррикады.

Они пристально осматривают их и взвешивают все возможности штурма. Выбирают всякое удобное место. Прячутся за каменными колоннами. Влезают по стенам. Ложатся плашмя на крышах. Ползут по ним. Скрываются за ставнями и печными трубами. С каждого угла направляют ружья на баррикады. Затем внезапно открывают огонь, осыпая баррикады градом пуль. Так же неожиданно, как начали, прекращают стрельбу и прокрадываются на новые позиции. Снова стрельба, и снова тишина. Офицера начинают чувствовать себя, как звери в западне, вокруг которой невидимые охотники все суживают пояс огня.

Постоянно прибывают новые отряды, пополняя убыль осаждающих. Кольцо становится все уже и уже и запирает в центре своем контр-революционеров. Изолировав таким образом место заразы, революционеры готовятся радикально очистить его. Ливень пуль заставляет белых покинуть баррикады и искать убежища под главным входом. За каменным прикрытием они держат совет. Первоначальный план их состоит в том, чтобы сделать

вылазку, пробиться сквозь кордон красных и бежать. Но это равносильно самоубийству. Разведчик вылез было на крышу, но спустился обратно с пулею в плече. Чтобы выиграть время, они просят о перемирии, но осаждающие отвечают: «три дня назад мы взяли вас в плен в Зимнем дворце и отпустили вас на слово. Вы нарушили свое слово и стреляли в наших товарищей. Мы вам больше не верим».

Белые домогаются амнистии, предлагая взамен Антонова.

— Антонов! Мы сами возьмем его,—был ответ красных.— Но за малейший вред, нанесенный ему, мы убьем вас,—всех вас убьем.

Красногвардейцы обмануты каретою Красного Креста.

Отчаянное положение приводит к отчаянному решению.

— Попробуем воспользоваться автомобилем Красного Креста,—предлагает один из офицеров.—Красные пропустят его через свои линии.

— Хорошо, если у нас нет автомобиля, найдутся кресты,— сказал другой офицер,—представляя четыре больших вывески с красным крестом.

Он укрепил их спереди, по бокам и сзади автомобиля. В общем это имело сходство с автомобилем Красного Креста.

Два офицера заняли места спереди, затем один у руля и еще один, положивший руку, державшую револьвер, в сумку автомобиля. Худощавый человек, полумертвый от страха, отец одного из юнкеров, сел позади.

— Прыгайте и вы сюда,—сказали мне офицеры. Белые всегда пускали в автомобиль в качестве пассажиров людей в платье буржуа. Многие, даже знавшие революционную деятельность людей, вроде Джона Рида, например, и меня, полагали, что это был все же хороший способ добиться доверия большевиков.

Я влез в автомобиль, и он выехал через ворота. При виде красного креста стрельбу прекратили. Медленно и в тревоге доехали мы до линий красных. Солдаты, матросы и рабочие встретили нас с ружьями в руках.

— Чего вам надо?—спросили они грозно.

— Многие из нас сильно ранены. Нет ни перевязок, ни лекарств,—об'яснял офицер, сидевший у руля.—Мы хотим до-

браться до квартиры Красного Креста и добыть медикаментов. Наши ужасно мучаются.

— И пусть их мучаются,—проворчал один из матросов с ругательством.—Мы им поверили на слово, проклятым обманщикам!

Но другие матросы закричали: «не ругаться, товарищ!». Нам же они сказали: «хорошо, проезжайте, да скорее».

Мы помчались по улицам в то время, как позади нас начался опять обстрел станции.

— Не так уж дурны в сущности эти красногвардейцы,— заметил я.

— Дураки! Как сказать по-английски, проклятые дураки, а?—Все истерически расхохотались.

Мы быстро пронеслись по Французской набережной, сделав большой крюк из опасения, что нас будут преследовать по нашим следам.

Мы быстро приехали к Инженерному замку. Большие ворота раскрылись, и минуту спустя мы были в зале, наполненном офицерами—русскими, французскими и английскими. Штаб уже получил сообщение по телефону о критическом положении на телефонной станции и распорядился о немедленной посылке бронированного автомобиля и подкрепления. Были еще кое-какие другие подробности, небольшая беседа с каким-то генералом, и мы хотели уходить.

— Подождите минуту,—остановил нас генерал,—позвольте мне быть полезным вам, когда вы вернетесь обратно.

— Он присел к столу и разложил бумаги, по виду схожие с советскими удостоверениями. Затем он приложил печать к одной из них. На печати стояли магические слова «Военный Революционный Комитет» по форме и буквам точно такие, как на печати советского комитета. Если это была не украденная советская печать, то ее точная копия. Невозможно было даже обнаружить подделки. В России этот способ подделки достиг большого искусства.

— Сам Троцкий не мог бы дать вам удостоверения лучше этого,—заметил генерал, подписывая бумагу.—В такое тревожное время, как наше, никогда не мешает носить при себе бумаги такого рода,—продолжал он шутливо, ставя печати еще на двух

бумагах.—Вот вам—на всякий случай. Напишите текст скверным почерком и с грубыми ошибками, и вы получите первоклассный большевистский пропуск куда угодно.

— Кстати,—прибавил он, передавая несколько черных шариков,—это тоже пригодится.

— Ручные гранаты?—осведомился я.

— Нет,—отвечал генерал.—Это пилюли, капсюли, лекарство для красных. Дайте принять красногвардейцу одну из них в удобном месте, и вы наверное излечите его от большевизма, революции, социализма и всего прочего, чем он болеет. Что, а?—хохотал он, ужасно довольный своим остроумием.—Карета Красного Креста должна быть полна таких пилюль!

И вот наш автомобиль направляется обратно к телефонной станции. Но за последние полчаса улицы изменили свой вид. Красные посты были расставлены почти на каждом углу. Почти каждый часовой был крестьянин, которого судьба вырвала из спокойной деревни и забросила в этот город в дни напряженной борьбы между революционерами и контр-революционерами, и притом не дала ему никакой приметы, чтобы отличать людей того или другого лагеря.

Красные становились втупик, когда мы преподносили им наш и бумаги, указывая на знак Красного Креста на нашем автомобиле и неистово вопя: «помощь раненым товарищам!».

И в то время, пока они раскидывали умом, мы уже проносились мимо. Один за другим пропускали нас часовые, пока мы не натолкнулись на здорового парня, стоявшего посреди Миллионной. Он загородил ружьем путь автомобилю и остановил его.

— Идиот! — закричали офицеры. — Разве не видишь, что это автомобиль Красного Креста? Не задерживай нас, когда товарищи умирают.

— А вы тоже товарищи?—спросил крестьянин, подозрительно смотря на форму офицеров.

— Конечно. Довольно буржуи попили нашей крови! Долой изменников—контр-революционеров!—орали офицеры, повторяя революционные лозунги.

— Значит, я дожил до того дня, когда офицеры стали помогать темному люду?—говорил крестьянин наполовину самому себе. И все еще не доверяя, он спросил наши паспорта.

Водя пальцем по строкам, он с трудом разбирал каждое слово. Когда крестьянин читал бумаги, один из офицеров, с револьвером в руке, читал по выражению лица крестьянина. Последний едва ли когда-либо узнал, как близок был он тогда от смерти. Скажи он «нет, пройти нельзя»,—офицер прострелил бы ему череп.

Но его разрешение пройти было для него самого разрешением жить. Он, конечно, не мог знать, что печать на нашей бумаге была поддельная. Он видел только, что она была похожа на ту, какая была на его собственной бумаге.

— Ладно,—сказал он,—и мы поехали дальше. Еще надо было пробраться через кордон вокруг телефонной станции. Это был момент высшего напряжения нервов у офицеров. Под предлогом помощи раненым белым, они сами несли смерть красным. Красные не знали этого. Хотя они считали вообще контр-революционеров предателями, но они не подозревали, что на этот раз теми нарушались все законы, нравственные и государственные.

Итак, когда офицеры попросили скорейшего пропуска во имя человеколюбия, красногвардейцы тоже сказали: «Красный Крест? Ладно. Проезжайте!».

Ряды раздвинулись, и минутою позже наш автомобиль со своим грузом ручных гранат скользил под аркою у входа в станцию, вызывая крики радости у осажденных. Они радовались получению ручных гранат и еще более получению последних военных известий. Но более всего они были рады, когда узнали, что бронированный автомобиль идет к ним на помощь.

ГЛАВА X.

ПРОЩЕНИЕ ИЛИ СМЕРТЬ БЕЛЫМ?

Белогвардейцам, засевшим как в мышеловке внутри телефонной станции, пришлось пережить довольно скверные минуты. Но вот проходит радостная весть, что бронированный автомобиль спешит к ним на выручку. И они пристально смотрят на улицу, ожидая с нетерпением его появления.

Едва автомобиль, колыхаясь, показывается с Невского, они приветствуют его радостными восклицаниями. Подобно огромному железному коню, он останавливается перед баррикадами, загромождая улицу. Снова поднимается ликование белых. Злополучное ликование! Белые не знают, что их радости уже пришел конец. Не знают, что этот автомобиль не только не несет им спасенья, но сам теперь попал в руки красных.

Как в троянском коне, внутри его скрыты вооруженные солдаты революции. Он коварно молчит, пока не пробирается сквозь главный в'езд.

Тогда он внезапно изливает свинцовый поток, как садовый насос изливает воду. Вопли и крики проклятий вместо ликования. Прыгая через ящики и один через другого, офицеры с пронзительными криками и грохотом бегут смешанною толпою, через зал и вверх по лестнице.

Какое возмездие! Здесь, где несколько часов тому назад, контр-революционеры приставляли свои револьверы к вискам революционеров, последние направляют на них самих пулеметы.

Белогвардейцы попали впросак.

На площадке лестницы белые не останавливаются. Десять решительных человек могли бы отсюда задержать тысячу.

Но не находится десятка таких решительных! Не находится даже ни одного! Здесь только об'ятая паникою кучка людей, мечущихся в припадке того страха, который гонит краску с лица и рассудок из головы. Нет ни мужества, ни благоразумия. Пропал даже стадный инстинкт единства перед лицом общей опасности.

— Спасайся, кто может!—кричат все старшие офицеры.

Офицеры бросают фуражки, пояса и шашки. Знаки отличия обращаются теперь в знаки позора и смерти. Срываются погоны, золотые шнуры и пуговицы; всякий ищет какой-нибудь костюм рабочего—блузу, пальто, что-нибудь,—лишь бы прикрыть им свой чин. Какой-то офицер, облекшийся в засаленную блузу рабочего, висевшую на гвозде, чуть не сходит с ума от радости. Капитан, нашедший фартук повара, надевает его, прячет оружие под пол и, весь бледный от ужаса, становится самым белым из всей белой армии в России.

Но для большей части офицеров не находится иного прикрытия, кроме клозетов, чердаков. Здесь скрываются они, как загнанные охотником звери. К измене врагам присоединяется измена своим союзникам. Они привели юнкеров в эту ловушку. Теперь ловушка захлопнулась, и офицеры оставили их на произвол судьбы.

Придя несколько в себя, юнкера начинают кричать: «Наши офицеры! Где наши офицеры?». Никакого ответа. «Проклятые трусы. Они предали нас!»

Гнев, вызванный этим предательством, лишает юнкеров самообладания. Их лучшею тактикою было бы теперь удержать позицию на лестнице, но они отступают.

Месть красных страшит их и парализует их способность действовать. Они отступают в комнату с толстыми стенами и узким входом, и здесь, как сбившиеся в кучу крысы в норе, ожидают нападения. Для некоторых из этих юношей, только что окончивших среднее учебное заведение, это несчастье вдвойне трагично. Смерть от рук крестьян и рабочих, с которыми у них никогда не было никаких распрей! Но, захваченные вместе с контрреволюционерами, они должны разделить их участь. Они прекрасно знают, что заслужили это,—и сознание вины нервирует их. Ружья выпадают из их рук. Со стоном падают они на стулья, на столы, устремив глаза на вход, через который придут красные

покончить с ними; они с трепетом прислушиваются к шуму первой волны, поднимающейся по лестнице. Стук в дверь. Кроме биения их пульса, в комнате не раздается ни малейшего звука.

Общий ужас.

Но есть еще комната пытки в этом здании. В ней содержатся Антонов, красные караульные и прочие пленные, взятые белыми в этот день. Они сидят беспомощные, запертые в своей тюрьме, в то время, как снаружи кипит битва, решая участь революции и их собственную. Никто не приходит сообщить им об исходе битвы. Только сквозь толстые стены глухо доносятся выстрелы и звон разбитых стекол.

Вдруг шум сразу прекращается. Что это значит? Торжество контр-революции? Победа белых? А дальше что? Откроется дверь, у стены развернутый карательный отряд с ружьями, затем повязки на глаза, щелканье курков—и смерть, смерть их и революции! Так размышляют они, опустив головы на руки, в то время, как часы над дверью, бесстрастно отбивают секунды. И каждый удар может быть для них смертельным. В ожидании последней секунды они напрягают слух,—не раздаются ли шаги карательного отряда, идущего по коридору? Но, кроме тиканья часов—ни звука.

И есть еще комната пытки, наполненная женщинами. Она в верхнем этаже, и в ней сотни телефонисток, сбившихся в кучу. Восьмичасовая бомбардировка, панический страх офицеров, их безумные крики о помощи потрясли нервы и рассудок женщин. Им приходят на ум страшные рассказы о зверствах большевиков, об изнасиловании ими девушек женского батальона, о преступлениях, приписываемых этим красным ордам, неистовствующим теперь внизу во дворе.

В своем воспламененном воображении они уже видят себя жертвами такого зверства, бьющимися в руках этих чудовищ. Они разражаются слезами, пишут отчаянные прощальные письма. С бледными лицами они сбились в кучу, все время прислушиваясь к диким крикам этих злодеев и к топоту их грубых сапогов по полу залы. Но это не топот сапогов—это лишь биение их трепещущих сердец.

Один из броневиков, действовавших при подавлении мятежа белых.

Вдруг все здание погружается в могильную тишину. Но это не покой смерти, но напряженное молчание сотен живых существ, парализованных страхом. Это молчание заразительно. Оно проходит через стены и овладевает красными. В свою очередь они умолкают, пораженные тем же самым параличом страха и спускаются по лестнице, оставляя ее в клубах порохового дыма. Сотни снаружи в страхе перед террором белых, находящихся внутри здания, сотни внутри его в страхе перед террором красных, находящихся снаружи. Тысячи человеческих существ, мучающих друг друга.

Внутри здания эта пытка молчания становится невыносимою. Я, по крайней мере, не в состоянии этого выдержать. Ища облегчения, я убегаю, сам не зная куда, лишь бы избавиться от этого молчания. Открыв случайно боковую дверь, я очутился в комнате, наполненной юнкерами. Они вскакивают передо мною, как перед вестником страшного суда.

— Американский корреспондент,—шепчут они.—О, спасите, нас! Спасите нас!

— Но как?—затрудняюсь я.—Что я должен сделать?

— Что возможно,—упрашивают они.—Только спасите нас!

Кто-то произносит: «Антонов».

Другие подхватывают это имя, повторяя как бы в очаровании: «Антонов! Идите к Антонову!».

Они указывают дорогу.

Через минуту я совершаю другой неожиданный визит другой изумленной аудитории—пленным красным и Антонову.

— Вы свободны. Офицеры убежали. Юнкера сдаются. Они умоляют спасти их. Они просят лишь о сохранении жизни. Спешите! Спешите!

В один момент пленный Антонов, ожидавший смерти, становится хозяином жизни других. Осудившие его просят суда над собою. Поразительная перемена!

Но не изменилось лицо этого невысокого с уставшим от чрезмерной работы лицом революционера. Если мысль о мести мелькнула в его голове, она была тотчас же оставлена.—Итак, я не покойник, а командир,—сказал он со слабою улыбкою.—Первым делом, значит, надо навестить юнкеров! Хорошо.—Он надел шляпу и пошел к юнкерам.

— Антонов! господин Антонов! командир Антонов!—плачутся они,—пощадите нам жизнь! Мы знаем, что виновны. Но мы отдаем себя на милость революции.

Печальный конец веселого предприятия! Еще утром они собирались перебить большевиков, а вечером умоляют их о сохранении собственной жизни. Называя раньше Антонова «товарищ», как если бы они произносили слово «свинья», они произносят теперь это слово подобострастно, как почетное звание.

— Товарищ Антонов,—умоляют они, — дайте нам слово большевика, настоящего большевика, что спасете нас.

— Мое слово? Даю.

— Но они могут не послушаться вас, товарищ Антонов,—бормочет какой-то довольно жалкий на вид юнкер.—Они все-таки могут убить нас.

— Прежде чем убить вас, они должны будут убить меня.

— Да мы-то не хотим быть убитыми,—хнычет этот юнкер.

Приговор толпы—«смерть белым!».

Антонов не мог скрыть своего презрения. Возвращаясь в зал, он сошел по лестнице. Для натянутых нервов каждый шаг его звучал, как выстрел из ружья.

Снаружи красные слышали шаги и направили ружья, ожидая стрельбы. И вот сюрприз! Во главе их—Антонов.

— Он, он!—раздается сотня голосов.—Антонов! Да здравствует Антонов!—вырывается из сотни глоток. Шум, поднятый на дворе, слышен на улице, и толпа волнуясь, кричит: где офицеры и юнкера?

— Сдались,—об'являет Антонов,—сложили оружие.

Подобно реву прорвавшейся плотины, раздается крик тысячи голосов—крик торжества и ярости. Все настойчиво требуют: «Смерть офицерам! Смерть юнкерам!».

Да, есть из-за чего трепетать белым! Не раздражением битвы, но бесчестием вероломства вызывается этот вулкан ярости. В глазах этих солдат белые—убийцы их товарищей, палачи, злодеи, которых должно истребить, как гадин. Лишь чувство страха удерживало красных от штурма лестницы. Теперь нет никакой

причины быть осторожными. Раз'яренные люди бросаются на приступ с круком: «Стереть с лица земли этих палачей! Смерть белым чертям! Смерть каждому из них!».

Здесь и там во мраке наступившей ночи факелы освещают бородатые лица крестьян и солдат, запачканные и худые лица городских ремесленников и, в первых рядах, открытые смышленные физиономии здоровяков матросов Балтийского флота. На каждом лице и в горящих глазах и в стиснутых крепко зубах—написано одно чувство мести долго страдавших людей. Теснимая задними рядами масса волнуется около крыльца, где стоит Антонов, спокойный и бесстрастный, но кажущийся столь слабым и беспомощным перед этой лавиной.

Подняв руку, Антонов закричал:

— Товарищи, вы не должны убивать их. Юнкера сдались. Они ваши пленные.

Толпа поражена, но затем оглушительным криком выражает свою злобу.

— Нет! нет! они не пленные,—протестует толпа,—их надо казнить!

— Они сдали оружие,—продолжает Антонов,—я подарил им жизнь.

— Ты мог подарить им жизнь, да мы не дарим. Мы угостим их штыками, — горланит какой-то крестьянин, повернувшись к толпе за одобрением.

— В штыки! Да, угостим их штыками!

Антонов пережидает бурю. Затем вынимает револьвер и, направив его перед собою, кричит:

— Я обещал юнкерам безопасность. Понимаете? И я сдержу свое слово.

Толпа в недоумении. Не хотят верить своим ушам.

— Как же так? Что это значит?—спрашивают они.

Сжимая в руке револьвер, с пальцем на курке, Антонов повторяет:

— Я обещал им жизнь, это обещание я исполню.

— Изменник! ренегат!—гремит тысяча голосов.—Защитник белогвардейцев!—выпаливает силач-матрос прямо в лицо Антонову.—Ты хочешь спасти этих мерзавцев? Но это тебе не удастся. Мы их убьем.

— Первому, кто дотронется до пленных, я раздроблю голову!—Антонов говорит медленно, отчеканивая каждое слово.—Вы понимаете? Застрелю всякого!

— Стрелять в нас?—возмутились ошеломленные матросы.

— Стрелять в нас! Он хочет стрелять в нас, стрелять!—завыла негодующая толпа.

Жестокая, кровожадная толпа, дикая, как волк, свирепая, как тигр, огромный зверь, вышедший из джунглей города, поднятый этими белогвардейскими охотниками, раненый ими, зверь, все время раздражаемый и подвергаемый мучениям, готовый, наконец, расправить когти и растерзать в куски своих мучителей! И в этот миг между ним и его добычею становится этот маленький человек.

Для меня это самый трогательный во всей революции эпизод: маленький человек, стоящий на лестнице и спокойно взирающий на толпу или, вернее, смотрящий в тысячу сверкающих гневом глаз...

Его лицо было бледно, но ни малейший трепет не пробегал по его членам. И не замечалось дрожи в его голосе, когда он сказал опять медленно и торжественно: «Я застрелю всякого, кто сделает попытку убить хоть одного юнкера».

Прямая смелость и отвага поразила всех.

— В своем ли ты уме? Спасая офицеров, контр-революционеров, ты становишься убийцею рабочих-революционеров.

— Революционеров!—возразил Антонов насмешливо.—Революционеры! Где я вижу здесь революционеров? Вы осмеливаетесь называть себя революционерами? Вы, помышляющие об убийстве беспомощных людей и пленных!

Его насмешка попала прямо в цель. Толпа дрогнула, как от удара хлыстом.

— Слушайте!—продолжал он.—Знаете ли вы, что вы хотите сделать? Отдаете ли вы себе отчет, куда вас приведет это безумие? Убивая пленного белогвардейца, вы повредите не контр-революции, но самой революции. Той революции, которой я отдал двадцать лет моей жизни в изгнании и в тюрьмах. Или вы думаете, что я, революционер, буду хладнокровно смотреть на то, как революционеры распинают революцию?

— Но если бы они забрали нас в плен,—возражает какой-то крестьянин,—они убили бы нас.

— Правда, они убили бы нас,—ответил Антонов.—Что же из этого? Они не революционеры. Они люди старого порядка, поклонники царя и кнута. Мы же поклонники революции. А под словом «революция» подразумевается нечто лучшее. Оно означает свободу и жизнь для всех. Вот почему вы отдаете за нее свою жизнь и кровь. Но вы должны отдать ей нечто большее. Вы должны пожертвовать для нее вашими чувствами. Выше удовлетворения своих страстей вы должны поставить служение революции. С целью обеспечить торжество революции, вы обнаружили храбрость; теперь для ее чести вы должны быть милосердны. Вы любите революцию, и я прошу вас не губить того, что вы любите.

Он говорил горячо, его лицо пылало, руки складывались с мольбою, голос был убедителен. Вся его энергия сосредоточилась в этом последнем порыве, и он почувствовал, что силы покидают его.

— Поговорите с ними, товарищ,—попросил он меня.

Четыре недели раньше я говорил с этими матросами на палубе их броненосца, и, когда я теперь выступил вперед, они узнали меня.

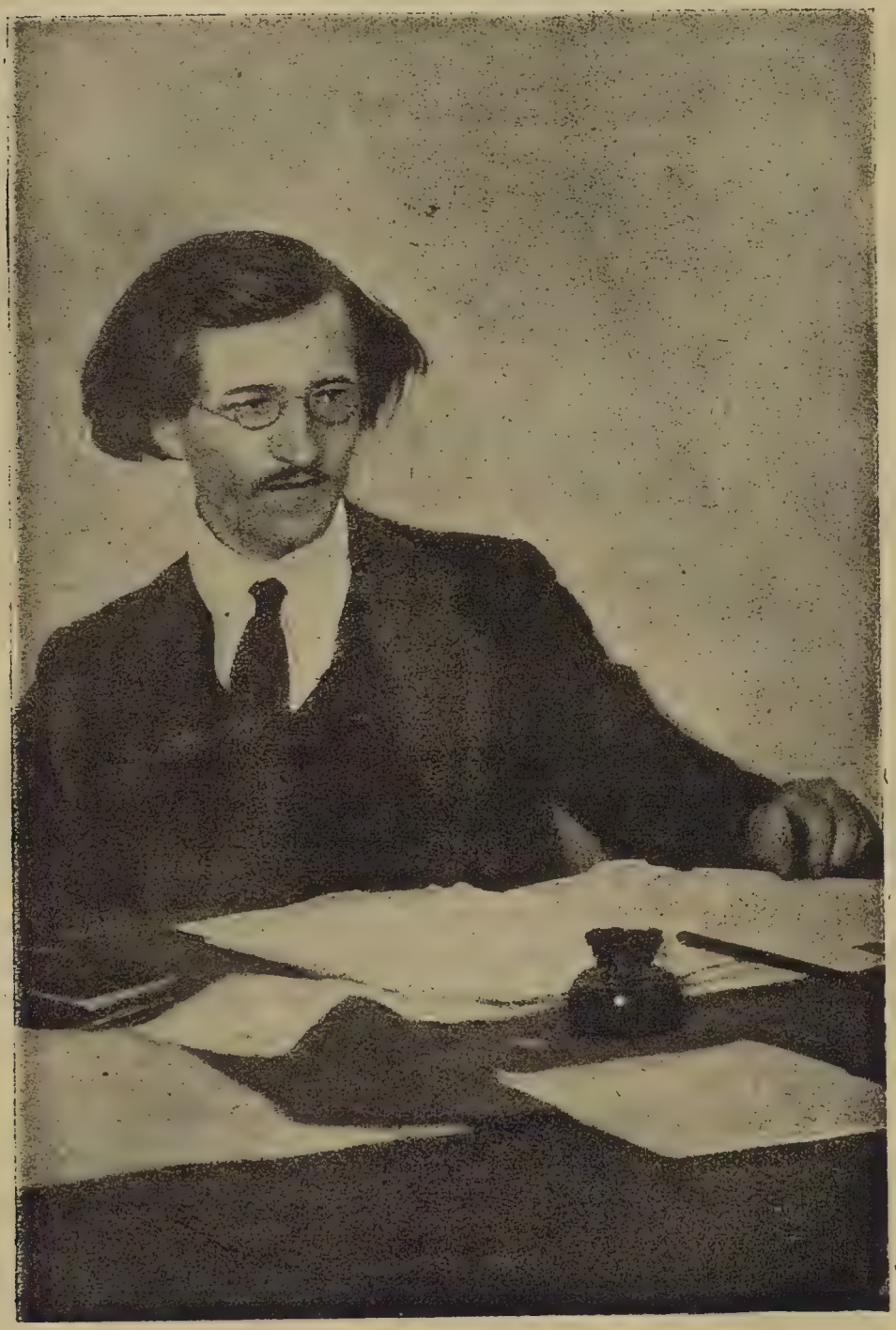
— Американский товарищ,—шептали они.

Громко и горячо говорил я о революции, о борьбе за землю и свободу, охватившей всю Россию, о предательстве белогвардейцев и справедливости суда над последними. Но взоры всего мира обращены на них, как на боевой авангард социальной революции.

Хотят ли они избрать старый кровавый путь возмездия или проложить путь к более благородным законам? И если они выказали себя мужественными при охране революции, то не покажут ли они себя теперь великодушными для того, чтобы увеличить ее славу.

Это была, должно быть, очень убедительная речь, если не по содержанию, то по внешней форме. Ни один даже из ста присутствующих не понимал ничего из того, что я говорил, потому что я говорил по-английски.

Но эти слова, странные и на чужом наречии, раздававшиеся во мраке, привлекали их внимание, а этого-то и добивался Антонов; таким образом вихрь страстей мог несколько утихнуть, и это дало выигрыш во времени для того, чтобы могли одержать верх другие чувства.



Командующий Красной гвардией тов. Антонов-Овсеенко.

Революция дисциплинирует толпу.

Толпа была настроена революционно. Революция—вот чему была предана от всей души по крайней мере половина этого скопища рабочих и солдат. Слово «революция» было фетишем. Их мечты, надежды и желания вертелись вокруг «революции», у которой они были слугами, а она их хозяином.

Правда, в этот момент другой повелитель овладел ими, вытесняя всякую мысль о революции. Безрассудная месть захлестнула их, но лишь временно; постоянно же они были теперь верноподданными революции. Даже предоставленная случаю, она возмутилась бы, свергла бы узурпатора и, утвердив снова свой авторитет, управляла бы своими поклонниками. В этой толпе была тысяча Антоновых, разделявших его высокое стремление к революции. Антонов был только атом этой толпы, кость от кости, дух от духа, разделявший ее вражду к юнкерам и офицерам, волнуемый теми же самыми страстями.

Но Антонов был первый из толпы, кто дисциплинировал свои страсти и в своем сознании заменил месть понятием «революция». Такая же перемена могла подобным же образом произойти в сердцах солдат и рабочих. Антонов знал это. Повторением магического слова «революция» он домогался восстановления революционного порядка из хаоса. И он сделал это.

И мы увидели древнее чудо мира—усмирение бури. Вой и грозный рев замерли, за исключением отдельных, еще настойчивых и сердитых голосов. Но после того, как Восков перевел мои слова и Антонов говорил снова, эти недовольные сдались. Сдержав свои чувства и проявляя более мирное настроение, солдаты и матросы подчинили свое желание мести воле революции. Они только просили об'яснить им содержание этой воли.

— Что же это такое, Антонов?—кричали они.—Что же по-твоему нам надо теперь сделать?

— Обходиться с юнкерами, как с военнопленными, определить условия сдачи. Юнкера просили меня сохранить им жизнь, и я присоединяюсь к их просьбе. Я прошу вас поддержать мое обещание таким же вашим обещанием.

Толпа превратилась в Совет. Выступили с речью какой-то матрос, затем два солдата и рабочий. Голосовали поднятием рук. Поднялась сотня замаранных в бою рук, а затем другая сотня—

и вслед за ними тысяча рук. Тысяча рук, сжатых раньше в кулак и угрожавших смертью офицерам, теперь раскрылись и поднялись в знак обещания жизни.

При таких обстоятельствах прибыла делегация из петроградской думы, которой было поручено «ликвидировать гражданский конфликт с возможно меньшим кровопролитием». Но революция решила уже свои дела безо всякого кровопролития. На этих господ не обратили никакого внимания. Был послан отряд для того, чтобы привести из здания станции белогвардейцев. Первыми привели юнкеров, затем офицеров, выгнав их из их убежищ, а одного даже вытащили за пятки. Столпившись на верхних каменных ступеньках, они стояли, мигая глазами в свете факелов, перед дулами тысячи ружей, перед тысячью пар враждебно устремленных на них с выражением презрения глаз.

Послышалось несколько шуток и даже крики: «Убийцы революции!»—и затем наступила тишина—торжественная тишина суда. Ибо это был суд над преступниками. Угнетенные судили угнетателей, новый строй творил суд над старым. Великий суд Революции!

— Виновны! все виновны—был вердикт. Виновны, как враги революции, как защитники царя и эксплоататоры трудящихся масс. Виновны—как нарушители правил Красного Креста и военных законов. Виновны по всем пунктам; как предатели российского и всемирного пролетариата.

Злополучные обвиняемые, на импровизированной скамье подсудимых, имели очень жалкий вид и стояли понурив головы. Некоторым из них было бы легче стоять под залпом из ружей. Но ружья служили теперь лишь для того, чтобы их караулить.

Пять матросов с винтовками на плече не отходили от них ни на шаг. Антонов схватил за руку одного из офицеров и вложил ее в руку матроса.

— Номер первый,—сказал он,—беспомощный, обезоруженный пленный. Его жизнь в ваших руках. Охраняйте его для чести революции.—Отряд окружил офицера и увел через главный вход.

С таким же напутствием был передан следующий пленный, а за ним и остальные; каждый вверялся взводу из четырех—пяти человек. «Конец разбою»,—пробормотал старый крестьянин, когда

последний офицер был вручен своему конвою, и шествие направилось по Морской.

У Зимнего дворца раз'яренная толпа напала на юнкеров и вырвала их из рук конвойных, но матросы напали на толпу, отбили пленных и провели их невредимыми в тюрьму Петропавловской крепости.

Революция не везде была достаточно сильна для того, чтобы обуздывать дикие страсти толпы. Не всегда оказывалось возможным предотвратить кровавые расправы. Безобидные граждане оскорблялись хулиганами. В уединенных местах полудикари, называвшие себя красногвардейцами, совершали гнусные преступления. На фронте генерал Духонин был вытащен из своей кареты и разорван в куски, несмотря на защиту комиссаров.

Даже в Петрограде несколько юнкеров были забиты палками до смерти бушевавшею толпою, и некоторых утопили в Неве.

Уважение рабочих к человеческой жизни.

Отношение революционных рабочих к вопросу о человеческой жизни, выразилось не в этих безумных спорадических деяниях, а в одном из первых законов, изданных Советом, едва Совет получил власть.

Как правящий класс рабочие были теперь в состоянии отомстить своим прежним эксплоататорам и палачам. Когда я увидел, что они восстали и взяли власть в свои руки и в то же время захватили тех, кто издевался над ними, бросал их в тюрьмы и изменил им, я боялся дикого взрыва мести.

Я знал, что тысячи рабочих, ставших теперь у руля правления, были некогда сосланы, закованные в кандалы, в Сибирь. Я видел людей без кровинки в лице и с нетвердою походкою, похожих на выходцев из гроба, после заключения в каменных мешках Шлиссельбурга. Я видел глубокие рубцы на их спинах, следы казачьих нагаек—и я вспомнил слова Линкольна: «Если за каждую каплю крови от удара бичем, ударивший получит по удару мечем, суд господень будет чист и справедлив».

Но ужасной кровавой бани не последовало. Напротив, мысль о репрессиях, казалось, не могла удержаться в головах рабочих. 30-го ноября в Совете прошел декрет об отмене смертной казни.

То был не только жест человеколюбия, рабочие не только постарались гарантировать им сохранение жизни своих врагов, но во многих случаях даровали им свободу.

Многие сановники, мрачные фигуры старого режима, были заключены Керенским в бастионы Петропавловской крепости. Там мы видели Белецкого, начальника царской тайной полиции, который в былые дни отправил множество людей в эти тюрьмы. Теперь старая седая крыса сама отведала своего лекарства. Здесь находился также бывший военный министр Сухомлинов, из-за чьих интриг с немцами десятки тысяч русских солдат заплатили жизнью в окопах. Эти два архи-негодяя приняли нас с самыми очаровательными манерами, заявляя о своей невинности и протестуя против «негуманного обращения с ними». «Но большевики человечнее Керенского,—говорили они,—они дают нам газеты». Мы посетили также министров прежнего временного правительства в их камерах и нашли их переносящими свое несчастье с большим достоинством. Терещенко, изящный как всегда, принял нас, сидя на своей койке, заложив ногу на ногу.

— Жизнь здесь не роскошна,—сказал он на безупречном английском языке.—Но это не по вине коменданта. Его неожиданно наградили сотнями заключенных сверх нормы и не дали лишних пайков. Поэтому мы и голодаем. Но мы получаем то же самое, что и красногвардейцы, и хотя те и хмурятся на нас, но делят с нами свой хлеб.

Молодых юнкеров мы застали за беседой о своих приключениях на телефонной станции; некоторые из них были заняты разборкою посылок от друзей, другие играли в карты на своих матрацах.

Через несколько дней эти юнкера были освобождены. Вторично они были отпущены на слово и вторично нарушили клятву, данную их освободителям—они бежали на юг и присоединились к белой армии, мобилизованной против большевиков.

Такою-то изменою тысячи белых отплатили большевикам за их милосердие! За своею подписью генерал Краснов торжественно обещал не поднимать оружия против большевиков и был освобожден. Вскоре затем он появляется на Урале во главе казачьей армии, разгоняющей Советы. Бурцева тоже освободили из Петропавловской крепости по приказу большевиков. Немедленно он при-

соединяется к контр-революционерам в Париже, где находит издателя для своей непристойной брошюры против большевиков. Тысячи отпущенных по милости красных на свободу позже вернулись обратно к белым, с целью иметь возможность убивать своих освободителей без всякой пощады.

Осматривая красные батальоны, большая часть которых была перебита освобожденными контр-революционерами, Троцкий сказал: «Главное наше преступление в первые дни революции заключалось исключительно в доброте».

Сардонические слова! Но история вынесет вердикт, что русская революция гораздо более глубокая, чем великий переворот, происшедший во Франции в 1789 году, не превратился в сатурналию мести. Русская революция по всем своим стремлениям должна была быть «бескровной революцией».

Возьмите самую преувеличенную цифру расстрелов в Петрограде, число жертв трехдневной битвы в Москве, уличных сражений в Киеве и Иркутске и крестьянских восстаний в провинции. Прибавьте случайные жертвы и разделите сумму на общую цифру народонаселения,—не на 23.000.000 участников французской, не на 3.000.000 человек участников американской, но на 123.000.000 участников русской. Цифры покажут, что за 4 месяца, в течение которых учреждена была и укреплялась Советская власть—от Атлантического океана вплоть до Тихого, от Белого моря на севере до Черного моря на юге,—убито меньше, чем один на 3.000 русских.

Взглянем на эти цифры и в исторической перспективе. Справедливо или нет, но когда национальные интересы Америки потребовали, чтобы мы вырезали у себя язву невольничества, огромные частные владения были конфискованы, и при этом было убито по одному человеку из каждых трехсот. Справедливо или ошибочно, крестьяне и рабочие в России чувствуют необходимость вырезать язву царизма, помещичьего засилья и капитализма. Такая глубоко сидящая злокачественная болезнь требовала решительной операции. Все же операция была совершена со сравнительно незначительней потерей крови. Потому что великий народ по природе своей незлопамятен, как дитя, и прощает все. Злопамятность чужда духу рабочего люда. Вначале они пытались вести гражданскую войну гражданским же способом. Число жертв, погибших

в рядах красных и белых, взятых вместе, никогда не равнялось числу убитых и раненых в одном из крупных сражений мировой войны.

— А красный террор!—возразят некоторые. Он пришел позже, когда армии союзников вторглись в Россию, а под их покровительством черносотенцы организовали белый террор контр-революции против крестьян и рабочих—отвратительную оргию бойни и насилия, в которой беспомощные женщины и дети избивались массами.

Тогда для защиты рабочих, доведенных до отчаяния, пришлось прибегнуть к красному террору, смертная казнь была революционерами восстановлена, и белые должны были почувствовать на себе быстро карающую руку революции.

По вопросу о красном и белом терроре ведется бешеная полемика. Укажем на четыре фактора наиболее характерные.

Красный террор был определенно более поздней фазою революции. Это была мера защиты, прямой ответ на белый террор контр-революции. Эксцессы красных по своему количеству и жестокости бледнеют перед преступлениями, совершенными белыми *). Если бы союзники не вмешались во внутреннюю жизнь России и не разожгли бы снова гражданскую войну против Советов, то, по всей вероятности, не было бы красного террора, и революция продолжала бы быть, как в начале, «бескровною революцией».

*) Приложение II. «Поезд смерти» из «American Red Cross Magasine».

ГЛАВА XI.

КЛАССОВАЯ ВОЙНА.

«Выскочки, искатели приключений, самозванцы!»

Так буржуазия клеймила большевиков или зубоскалила: «как могут подобные собаки, подобные канальи быть правительством!».

Мысль, что красные могут удержаться дольше нескольких часов, тем более дней, высказывалась в виде шутки. Все время нам говорили: «Завтра начнут их вешать». Но много прошло этих «завтра», а большевики все еще не качаются на фонарях. Буржуазия стала не на шутку тревожиться, что Совет не подает ни малейшего признака падения. «Необходимо сразиться с ним и разогнать его,—гласило воззвание Республиканского Совета. Он враг народа и революции».

Городская дума стала центром всех сил, мобилизованных против Советов. В ней толпились генералы, священники, интеллигенция, чиновники, спекулянты, георгиевские кавалеры, бойскоуты, французские и британские офицеры, белогвардейцы и кадеты. Из этих элементов был организован «Комитет Спасения»—генеральный штаб контр-революции.

«Вся Россия имеет здесь своих представителей»,—хвалился старый городской голова Шрейдер. И это так и было. «Вся Россия», за исключением ее крестьян и рабочих, ее солдат и матросов. Попадая сюда из пролетарского Смольного, вы словно попадали в другой мир, в мир хорошо упитанных и хорошо одетых людей. Отсюда старый порядок привилегий и власти вступал в схватку с новым порядком, созданным трудящимися массами. Отсюда буржуазия открыла поход против Совета, употребляя все средства для того, чтобы обесславить, изуродовать и уничтожить его.

Буржуазия бастует и саботирует.

Буржуазия думала посредством одной забастовки поставить Совет на колени перед собою. Она об'явила всеобщую забастовку во всех департаментах нового правительства. В некоторых министерствах чиновники, принадлежавшие к более богатым слоям населения, ушли с работы всем составом. В министерстве иностранных дел 600 чиновников выслушали предложение Троцкого о переводе на иностранные языки декрета о мире—и затем удалились. Богатый забастовочный фонд, собранный среди банков и торговых домов дал возможность подкупить чиновников и даже часть рабочего класса. Одно время почтальоны отказывались доставлять советскую почту, телеграф не посылал советских депеш, железные дороги не перевозили войск, телефонные барышни оставили аппараты, огромные здания учреждений опустели.

Ответом большевиков на всеобщую забастовку было заявление, что забастовщики будут лишены должностей и прав на пенсию, если не приступят к работе. В то же время они начали вербовать новые штаты из своих рядов. Люди в блузах заняли вакантные должности. Солдаты в поте лица трудились над непривычными умственными занятиями. Дюжие матросы прилежно постукивали одним пальцем по пишущим машинкам. Рабочие, приставленные к аппаратам на телефонной станции, неумело соединяли абонентов, в то время, как последние посылали им проклятия и угрозы по проволоке. Дело сначала не спорилось, но усердие превозмогало—и со дня на день скорость работы возростала. Понемногу старые служащие возвращались к работе, и стачка буржуазии была сломлена.

Саботаж был вторым оружием, использованным против Советов. На заводах управляющие прятали важнейшие части машин, уничтожали планы и вычисления и под покровом ночи отсылали на пароходах свинец и муку в Германию. Служащие уничтожали запасы пищи под предлогом ее негодности к употреблению.

Большевики ответили «предостережением саботажникам и провокаторам, проникшим в советские учреждения».

В это время в городе были расклеены плакаты с обращением «Ко всем честным гражданам», в котором заявлялось, что «хищники, мародеры и спекулянты будут отправлены в кронштадтские тюрьмы впредь до предания их военно-революционному суду».

Ввиду этой угрозы, спекулировавшие на голоде масс стали скрываться.

Позже, для борьбы с преступниками и другими врагами нового советского порядка, была учреждена Чрезвычайная Комиссия (Чека).

В тех классах, где не замечалось вражды к Совету, буржуазия разжигала ее. Страдания миллионов увечных, сирот и раненых увеличились вследствие закрытия департамента общественного призрения. Госпитали и убежища остались без пищевых продуктов и освещения. Выборные на костылях и умирающие от голода матери с детьми на руках осаждали нового комиссара Александру Коллонтай. Но она была беспомощна. Сейфы были заперты, и чиновники скрылись с ключами. Прежний министр, графиня Панина, скрылась вместе с денежными фондами.

Ответом большевиков на этот и подобные ему факты была не гильотина, а Революционный Трибунал. За длинным полукруглым столом в концертном зале дворца великого князя Николая восседало семеро судей—два солдата, два рабочих, два крестьянина и председатель Жуков.

Первым подсудимым была графиня Панина. Защита подробно остановилась на ее благотворительной деятельности. Прокурор, молодой рабочий Наумов, возразил:

«Товарищи, все это правда. У этой женщины доброе сердце, но шла она по совершенно неверному пути. Она помогала многим из своих богатств. Но где источник ее богатства? В эксплоатируемом народе. Она старалась делать людям добро своими школами, родильными приютами и столовыми. Но если бы народ имел в своем распоряжении ее деньги, добытые потом и кровью трудящихся, то мы могли бы иметь собственные школы, собственные родильные приюты и столовые. И мы могли создать все эти учреждения в таком виде, какой нам нужен, а не в том, какой она считает подходящим для нас. Ее добрые дела не могут служить ей оправданием в том, что она захватила фонды из министерства».

Она была признана виновной и заключена в тюрьму впредь до возврата растраченных сумм, затем была освобождена, при чем ей было вынесено общественное порицание. Вначале легкие приговоры, вроде этого, были обычным явлением. Но когда конфликт между классами розросся, тогда и приговоры, налагаемые Революционным Трибуналом, стали более суровыми.

Деньги—жизненный нерв всякого правительства, между тем все финансовые учреждения находились в руках буржуазии. Городской думе и «Комитету Спасения» банки частным образом выдали свыше пяти миллионов рублей, Совету же они не выдали ни одного рубля. Заявления и письменные отношения не принимались во внимание. Буржуазия находила большое развлечение в зрелище того, как всероссийское правительство ходило по банкам с шапкой в руке, вымаливая необходимые фонды и не получая никаких.

Тогда, в одно прекрасное утро большевики явились в банки с оружием в руках. Они взяли сначала фонды, а затем и самые банки. По декрету о национализации банков эти центры финансового могущества перешли в руки рабочего класса.

Алкоголь, пресса и церковь—против Советов.

В своем судорожном стремлении затуманить сознание масс буржуазия решила использовать алкоголь в качестве союзника. Город был минирован винными складами, более опасными, чем пороховые магазины. Алкоголь в жилах масс должен был вызвать хаос в жизни города. С этой целью винные склады были отперты, и толпе было предложено угощаться вволю. Пьяные выходили из складов с бутылками в руках и затем валялись в снегу или шатались по улицам, стреляя и грабя.

Чтобы покончить с этими погромами большевики пустили в ход пулеметы, поливая свинцом бутылки, так как не было времени для того, чтобы разбить их все руками. Таким образом в погребах Зимнего дворца было уничтожено вина на три миллиона рублей, при чем некоторые сорта были столетние. Жидкость вылилась из подвалов, но она прошла при этом не через глотку царя и его приближенных, а через рукав, прикрепленный к пожарному насосу, выбрасывавшему ее в каналы. Колоссальный убыток. Большевики были очень огорчены этим, так как они нуждались в деньгах. Но еще больше они нуждались в порядке.

«Граждане,—заявляли они,—не должно быть нарушения революционного порядка! Не должно быть ни воров, ни грабителей! Следуя примеру Парижской Коммуны, мы будем уничтожать всех грабителей и зачинщиков беспорядков».

Если алкоголь не может отравить народную психику, то на помощь является печать. Фабрики лжи ежедневно выпускали свой

бумажный мусор—газеты и листовки, предсказывавшие неминуемое падение большевиков. Они сочиняли разного рода небылицы: о бегстве Ленина в Финляндию с золотом и платиною, ценностью в тридцать миллионов, захваченными в Государственном банке; об убийствах женщин и детей, совершенных красными; о том, что в Смольном командуют немецкие офицеры и т. д.

Большевики ответили на эту кампанию клеветы закрытием всех органов печати, «призывающих к открытому возмущению или подстрекающих к совершению преступлений».

«Богатые классы,—заявили они,—имеющие в своих руках значительное большинство органов печати, стараются затуманить сознание народных масс потоком клеветы и лжи... Если первая революция, низвергнувшая монархию, имела право закрыть органы монархической печати, тогда нынешняя революция, свергнувшая буржуазию, имеет право закрыть органы буржуазной печати».

Однако не все оппозиционные газеты были закрыты. Газеты, закрытые сегодня, выходили на завтра под новым наименованием. «Речь» превратилась в «Свободную Речь», «День» стал выходить в качестве «Ночи», а затем «В темную ночь», «Полночь», «Два часа пополуночи» и т. д. «Сатирикон» в рисунках и стихах беспощадно высмеивал большевиков. Американское Бюро Печати вело беспрепятственно свою пропаганду и напечатало беседу с Самуэлем Гомперсом под заголовком «Социалисты поддерживают войну». Но мероприятия большевиков оказались достаточными для предотвращения массового производства газетами преподносимой народу лжи.

Царь использовывал православных священников в качестве своей духовной полиции, употребляя религию в качестве опиума для народа. Угрожая народным массам адом и прельщая их прелестями рая, попы заставляли их подчиняться самодержавию. Теперь же церковь была призвана выполнять ту же функцию в интересах буржуазии. Большевики были торжественным посланием отлучены от церкви .

Большевики не сделали прямого нападения на церковь, а просто отделили церковь от государства. Поток государственных фондов в церковные сундуки был приостановлен. Брак был об'явлен гражданским институтом. Монастырские земли были конфискованы. Часть монастырей была превращена в госпитали.

Патриарх выпускал громовые протесты против всех этих кощунственных действий, но эти протесты производили слабое впечатление. Оказалось, что преданность масс святой церкви была в такой же почти степени мифом, как их преданность царю. Массы читали церковный декрет, обещающий им мучения в аду, если они станут на сторону большевиков. Затем они обдумывали содержание большевистского декрета, предоставляющего им землю и фабрики.

«Если необходим выбор, говорили некоторые, то мы предпочитаем большевиков». Другие пошли за церковью. Многие же не сочли нужным делать определенный выбор и принимали участие сегодня в церковной процессии, а завтра в большевистском параде.

Крестьяне, анархисты и немцы против Советов.

Города были крепостями большевиков. Буржуазия попыталась тогда натравить против них крестьянское население.

«Поглядите!—говорила она крестьянам,—города работают лишь восемь часов в день, почему же вы должны работать шестнадцать? Зачем вы отдаете свой хлеб городам, раз вы ничего не получаете взамен?» Старый Исполнительный Комитет Крестьянских Советов категорически отказался признать новое правительство.

Большевики, однако, помимо воли этого Исполкома, созвали новый крестьянский с'езд. На этом с'езде старая гвардия с Черновым во главе с яростью нападала на большевиков. Но два факта невозможно было опровергнуть. Во-первых, большевики дали крестьянам землю, а не одни только обещания. Во-вторых, большевики призвали на с'езде крестьян принять участие в новом правительстве.

После продолжавшихся ряд дней бурных дебатов было заключено соглашение. Крестьяне среди ночи с факелами в руках устремились на улицу, оркестр Павловского полка заиграл марсельезу, рабочие поспешили присоединиться к крестьянам, они обнимали и целовали их. Во главе с огромным советским знаменем крестьян, на котором красовалась надпись: «Да здравствует об'единение трудящихся масс», шествие двинулось по покрытым снегом улицам к Смольному. Здесь состоялось торжественное «брако-

сочетание» между крестьянами, рабочими и солдатами. В состоянии экзальтации один старый крестьянин воскликнул: «Я явился сюда, не ступая по земле, а словно прилетел по воздуху». Новое правительство стало теперь действительно Советом Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.

* * *

В своих усилиях уничтожить Советы буржуазия била направо и налево—она попала даже в лагерь анархистов. Сотни офицеров и монархистов проникли в анархистские организации, сгруппировались вокруг черного знамени и стали анархистами действия.

Они вторгались в отели и с револьверами в руках «реквизировали» бумажники жильцов. В Москве они «национализировали» тридцать четыре особняка, выбросивши всех проживавших там на улицу. Заметивши стоявший на улице автомобиль американского Красного Креста, которым пользовался полковник Роббинс, они его «социализировали», впрыгнувши в него и укативши. Все свои поступки они оправдывали тем, что они де «истинные революционеры—более радикальные, чем большевики».

Большевики обратились к действительным анархистам с ультимативным требованием—выбросить из своей среды эти элементы. Одновременно они сделали облаву в «анархистских» центрах, нашли там большие запасы пищевых продуктов, драгоценностей и недавно прибывших из Германии пулеметов. Они возвратили украденное имущество владельцам и арестовали всех реакционеров, замаскировавшихся ультра-революционерами.

Буржуазия обратилась за помощью к своим прежним врагам—немцам. Снова и снова буржуа говорили нам, что на следующей неделе мы увидим германские войска, вступающие в Москву.

Большевики не имели тогда ни Красной армии, ни артиллерийских батарей, которые они могли бы противопоставить немцам. Но они имели батареи линотипов и печатных станков, посылавших в ряды германских войск смертельную шрапнель пропаганды. В «Факеле» и «Мире Народов» на всех языках было напечатано воззвание к германским солдатам, призывавшее их использовать свои пушки не для уничтожения российской рабочей республики, а для установления рабочей республики в Германии.

В советских учреждениях Джон Рид и я устанавливали серию иллюстрированных плакатов. Картина № 1 показывала германское посольство в Петрограде, на фасаде которого развевалось большое знамя. Под картиной были следующие слова:

Смотри на это великое знамя. Оно провозглашает слова знаменитого немца. Бисмарка? Гинденбурга? Нет. Это—призыв бессмертного Карла Маркса к международному братству: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Это не просто изящное украшение германского посольства. Русские с весьма серьезной целью подняли это знамя и бросили вам, немцам, те же самые слова, которые были даны Карлом Марксом всему миру семьдесят лет тому назад.

Наконец-то основана истинная пролетарская республика. Но существование этой республики может стать прочным лишь тогда, когда рабочие всех стран завоюют правительственную власть.

Русские крестьяне, рабочие и солдаты скоро отправят социалиста в Берлин в качестве посла. Когда же Германия пошлет интернационального социалиста в это здание германского посольства в Петрограде?

Картина № 3 показывала солдата, срывающего с одного из дворцов российских императорских орлов, сжигаемых внизу толпою. Под этой картиной находились следующие слова:

На крыше дворца солдат срывает ненавистную эмблему самодержавия. Внизу толпа сжигает орлов. Стоя среди толпы, другой солдат об'ясняет, что свержение самодержавия—только первый шаг на пути к социальной революции.

Легко свергнуть самодержавие. Самодержавие покоится исключительно на слепом подчинении солдат. Русские солдаты открыли только свои глаза, и самодержавие исчезло.

Подобные плакаты и летучие листки бросались в воздух в надежде, что благоприятный ветер занесет их в германские окопы. Их сбрасывали с аэропланов, вкладывали в виде контрабанды в сапоги и багаж возвращавшихся в Германию военнопленных.

Все это разлагало германскую армию и служило на пользу революции. Генерал Гофман сказал: «Ленин и большевики уничтожили наши моральные устои, они принесли нам поражение и дали толчек революции, приводящей нас ныне к гибели». По всей вероятности, пропаганда не имела такого широкого влияния, как он утверждал, но она во всяком случае воспрепятствовала тому, чтобы германские войска уничтожили Советы. Русская буржуазия стала тогда строить планы свержения большевиков посредством союзнической интервенции.

Падение Учредительного Собрания.

18-го января 1918 года, в тот момент, когда классовая борьба достигла своего апогея, открылось Учредительное Собрание. Оно отражало уже пережитую фазу революции, ту точку зрения, которая утеряла всякую связь с действительностью. Выборы были произведены по устаревшим спискам, в которые одна советская партия — левых социалистов-революционеров — вовсе не вошла. Массы относились совершенно индиферентно к Учредительному Собранию, вынырнувшему подобно привидению из прошлого, но буржуазия радостно приветствовала его. В действительности буржуазия не питала симпатии к Учредительному Собранию, она даже делала в течение нескольких месяцев все возможное, чтобы отсрочить его открытие или даже совершенно его задушить. Как часто мне приходилось слышать от этих людей: «Нам наплевать на Учредительное Собрание». Ныне, однако, оно было их последней надеждой, оно стало последним занавесом, за которым они могли оперировать, и они внезапно стали его яростными защитниками.

Ко дню открытия была подготовлена большая демонстрация. Около 15.000 офицеров, чиновников и различного рода интеллигентов участвовали в шествии по улицам. За ними шли укутанные в меха почтенные дамы, одетые в ярко-красные платья, старые монархисты с красными знаменами в руках, толстые помещики, и все они пели: «Мы за народ свой страдали и голодали». Они делали все, что могли для того, чтобы походить на революционную демонстрацию. Однако красными были в данном случае лишь знамена и песни. Участники этого шествия были большей частью белогвардейцы и черносотенцы—между ними почти не было видно рабочих или крестьян. Массы держались в стороне, они приветствовали шествие насмешливыми восклицаниями или презрительным молчанием.

Учредительное Собрание появилось слишком поздно, оно оказалось мертворожденным. В быстром продвижении революции революционные массы целиком перешли на сторону Совета. За Совет демонстрировало 500.000 человек, и они были готовы не только маршировать в честь его, но и сражаться и умереть за него. Совет был дорог трудящимся массам потому, что он был их *собственным* учреждением, родившимся из недр их класса и способным поэтому осуществить их стремления.

Каждый господствующий класс создает для себя такой государственный аппарат, посредством которого он может наилучшим образом управлять в своих интересах. До тех пор, пока короли и дворяне держали власть в своих руках, государственный аппарат, которым они пользовались, был абсолютистский и бюрократический. Когда в XVIII столетии на историческую арену выступил буржуазно-капиталистический класс и захватил власть в свои руки, он отбросил старый государственный аппарат и создал новый, соответствовавший их стремлениям—на европейском континенте парламент, в Америке Конгресс.

Подобным же образом и достигшие власти трудящиеся массы России принесли с собою свой собственный государственный аппарат: Совет. Они испытали и испробовали его в тысячах местных Советов, и в результате своего повседневного опыта они были знакомы с его функционированием. Посредством него они добились выполнения самых глубоких своих желаний—земли, фабрик и предложения мира. С ним они маршировали к победе, и его они сделали правительством России.

А теперь это устаревшее Учредительное Собрание отказывалось признать Совет в качестве российского правительства. Оно отказывалось признать «Декларацию прав трудящегося и эксплоатируемого народа»—эту Magna Charta русской революции. Это было то же самое, как если бы французская революция отказалась признать декларацию прав человека.

Поэтому Учредительное Собрание было распущено. Утром 19-го января 1918 г., стоявшие на страже матросы, заявили, что они хотят спать и что делегаты должны прекратить свои речи и отправиться домой. Таким образом скончалось после одного единственного заседания Учредительное Собрание, что вызвало сильное негодование на Западе, но в России не вызвало никаких протестов. Учредительное Собрание не имело в народе никакой почвы. Обстоятельства его смерти показали, что оно не имело никакого права на существование.

Больше всех оплакивала кончину Учредительного Собрания буржуазия. Оно было ее последней надеждой. Теперь, когда и она исчезла, ярость буржуазии против революции и ее деятелей перешла все границы. Это, впрочем, вполне понятно. Для нее революция означала катастрофу, ибо она заявила: «Кто не трудится, тот не должен также есть», «Никто не должен есть пирожных, пока все

не будут иметь хлеба». Революция взорвала весь фундамент буржуазной жизни в воздух. Она отняла у помещиков крупные имения, у высших чиновников—богатое жалованье, у капиталистов—контроль над банками и предприятиями. Никто не позволяет охотно взять у себя что-либо. Еще никогда не случалось, чтобы класс бездельников спустился добровольно и охотно с садов-крыш и отправился на работу. Ни один привилегированный класс не отказывается добровольно от своих привилегий. Ни один пропитанный традиционными взглядами класс не отбрасывает радостно старое и не приветствует новое.

Имеются, конечно, исключения из этого правила—в России мы видели поразительные примеры. Старый царский генерал Николаев заявил себя большевиком и занял командный пост в Красной армии. Когда белые взяли его в плен у Ямбурга, ему предложили отказаться от своих убеждений. Он отказался исполнить это. Его пытали—выжгли у него на груди красную звезду. Но он по-прежнему стойко отказывался изменить своим убеждениям. Его подвели к виселице с веревкой на шее.

— Я умираю большевиком! Да здравствуют Советы!—воскликнул он раньше, чем тело повисло в воздухе.

Было также много других людей подобных ему, сердца которых были затронуты учением Толстого и длинного ряда русских гуманитаристов, людей, которые признавали несправедливость старого и правду нового строя.

Они, однако, составляли исключение. Как класс, русская буржуазия взирала на революцию с ненавистью и страхом. Ее единственным желанием было уничтожить революцию. Ослепленная жаждой мести, буржуазия преступила все законы чести, рыцарства и истинного патриотизма. Она неистово взывала к помощи чужестранных штыков, которые должны были умертвить революцию. Она готова была прибегнуть к какому угодно оружию, даже к убийству. Маска цивилизации спала с нее, примитивные когти и клыки выступили наружу. Образованные, культурные люди превратились в дикарей.

ГЛАВА XII.

СОЗИДАНИЕ НОВОГО СТРОЯ.

Поведение высших классов России в их борьбе за обратное завоевание государственной власти не является чем-то новым или необычным в истории. Чему нет прецедента, это—решимости российского класса удержать власть в своих руках. С непоколебимым упорством пролетариат продолжал взятое им направление; на удары он отвечал ударами, на железо сталью. Рабочие проявили беспримерную дисциплину и солидарность. С полною уверенностью в конечном торжестве они стремились вперед, вливая в сердца своих вождей новое мужество и решимость и заражая широкие массы волею к победе.

Сколько имеется большевиков в России?

В какой степени массы поддерживали новое, созданное большевиками, правительство? Каково было число приверженцев революции в народе? «Дело Народа» писало: «Революция это—народное восстание. Что же мы видим здесь? Кучку бедных дураков, обманутых Лениным и Троцким».

Безусловно, в сравнении с огромным населением России число членов большевистской партии казалось только «кучкой»—это был 1 или 2 процента. И если бы по этому поводу нечего было больше сказать, то можно было бы действительно называть новое правительство «тиранией маленькой кучки над огромным большинством». Но не следует забывать одного факта: распространенность большевистских взглядов не должна измеряться величиною партии. На каждого партийного большевика приходится 30 или 50 большевиков, не значащихся в партийных списках.

Строгие правила при поступлении в партию, тяжелая работа, суровая дисциплина большевистской партии удерживали массы от вступления в ее ряды. Но голосовали они за эту партию [1]).

При выборах в Учредительное Собрание в Северной и Центральной России большевики получили 55%, а не 1 или 2% всех голосов. В Петрограде большевики и их союзники, левые социалисты-революционеры, получили 576.000 голосов,—больше, чем все другие 17 партий, вместе взятые.

Говорят, что имеются три степени лжи: «ложь, бесстыдная ложь и статистика». На статистику, в особенности революционного времени, нельзя положиться. Ибо в революционное время общественное мнение изменяется как прилив и отлив. Сегодня люди голосуют за одну партию, несколько недель спустя они будут голосовать за другую с совершенно противоположною программою.

Когда в ноябре 1917 г. состоялись выборы в Учредительное Собрание, большевики получили (вместе с левыми с.-р.), приблизительно, треть всех голосов. Когда же в январе 1918 г. было открыто Учредительное Собрание, большевики имели уже две трети голосов. В течение нескольких недель, прошедших между выборами и открытием Учредительного Собрания, большевистские идеи распространились среди крестьянского населения. Крестьяне, сознавши, что советский закон о земле действительно дал им землю, миллионами сгруппировались вокруг большевистского знамени.

Вот более или менее точная таблица роста числа сторонников большевизма:

Март	1917 г.—после падения царизма	1.000.000
Июль	1917 г.—после вооруженной демонстрации	5.000.000
Ноябрь	1917 г.—во время выборов в Учр. Собрание	9.000.000
Январь	1918 г.—третий с'езд Советов	13.000.000

---

[1]) Социалистических избирателей всегда в 10—50 раз больше, чем членов социалистической партии. В 1920 г. в Нью-Иорке было 12.000 членов социалистической партии, при выборах же за социалистов подало голос 176.000 избирателей. В 1918 г. большевистская партия во Владивостоке насчитывала 360 членов, на июльских выборах 12.000 избирателей подали голоса за большевиков. При этом эти выборы происходили под контролем союзников, большевистские газеты были запрещены, лидеры большевиков арестованы. Несмотря на это за большевиков голосовало больше избирателей, чем за все остальные 16 партий вместе. Несмотря на это пропагандисты монархистов Колчака и Деникина как, напр., Джон Спарго, старались привлечь внимание лишь на число записанных членов, что конечно давалось ложное представление об истинном положении вещей.

Большевики не только имели за собою большинство населения, в их руках находились также все стратегические позиции. Крупные города были сплошь большевистскими—железнодорожники, горнорабочие, рабочие главных отраслей промышленности. Но и штыки были в огромном большинстве на их стороне. Большевики получили от всех жизненных элементов России мандат на продолжение революции большевистским путем.

Апатия масс.

Было бы большой ошибкой недооценить число сторонников большевиков в массах, но было бы столь же ошибочным утверждать, что эти массы состояли целиком из революционных фанатиков, преисполненных возвышенным и священным энтузиазмом. Наоборот, значительная часть населения была совершенно индиферентна. Революция не проникла еще в плоть и кровь этих масс.

В одно прекрасное утро я выехал на санях, вместе с Шарлем Кунцом, фермером и философом из Нью-Джерсей, прибывшим в Россию с целью изучения революции. Когда наш извозчик, пятнадцатилетний мальчик, узнал, что мы американцы, он сильно взволновался.

— О, американцы! — воскликнул он, — скажите, жил ли в действительности Буффало Биль и Джесс Джемс?

Мы ответили утвердительно, и это покрыло нас славой в глазах нашего извозчика. Он знал наизусть деяния этих смельчаков Дальнего Запада, и теперь—о, радость!—он везет двух земляков своих героев. Его голубые глаза смотрели на нас с восхищением, и мы пытались выглядеть возможно более похожими на Буффало Биля и Джесс Джемса.

«О! о!—воскликнул он,—я покажу вам, как следует ехать!» Он отпустил свободно возжи, крикнул лошадям: «Но-о-о!», и мы понеслись самым бешеным галопом по льду; нам грозила опасность сломать себе шею, нас подбрасывало в санках, как в почтовой телеге в скалистых горах. Крича от радости, маленький извозчик стоял на козлах, сани кидало из стороны в сторону. Кунц и я судорожно ухватились за сиденье и умоляли его ехать медленнее.

Мы заявили, что Буффало Биль в лучшие дни свои не ездил быстрее, но мы просили его не гнать снова лошадей. Он обрушился на нас с вопросами о Дальнем Западе, в то время, как мы пыта-

лись заговорить с ним о России. Совершенно напрасно. Русская революция стала для него будничным явлением; приключения, о которых он читал в книгах с пестрыми переплетами, были гораздо более интересны и имели в его глазах гораздо большее значение, чем то, что происходило на улицах Петрограда.

Но не всякое индиферентное отношение к революции находило себе такое романтическое выражение. Энергия масс тратилась на будничные дела, она поглощалась необходимостью доставать продовольствие и одежду. Другие видели в революции только возможность пограбить и ничего не делать. Они трудились раньше, как рабы, теперь они хотели бездельничать, подобно господам. Для них революция означала не свободу труда, но освобождение от работы. Они торчали целый день на углу улицы и выплевывали шелуху семечек на асфальт, в виде единственной жертвы с их стороны в пользу революции. Солдаты стали «государственными пансионерами»; они ничего не делали, хотя и получали от правительства пищу, одежду и жилище. Ночи они проводили в картежной игре, днем же они спали, вместо военных упражнений.

Часто по отношению к интересам революции проявлялась также преступная индиферентность, внушенная хищническими стремлениями. Посты, с которых дезертировала интеллигенция, были заполнены авантюристами и карьеристами, искавшими случая пограбить и приобрести известность. Когда Джон Рид и я посетили петроградского комиссара над градоначальством, он обнял нас, восклицая: «Добро пожаловать, дорогие товарищи! Я прикажу, чтобы вам была предоставлена лучшая квартира в Петрограде. Мы должны вместе петь марсельезу. Ах! Наша прекрасная революция!»—восклицал он в упоении. В его воодушевлении сомневаться было невозможно. Источник его стоял на столе в виде дюжины бутылок. Под их влиянием он стал красноречив.

«Во время французской революции Дантон и Марат управляли Парижем. Их имена сохранились в истории. В настоящее время я управляю Петроградом, и мое имя также сохранится в истории». Кратковременная слава. На следующий день он был арестован по обвинению во взяточничестве.

Другому романтическому мародеру удалось каким-то образом получить пост военного комиссара. С каждой верстой, которая удаляла его от Москвы, росло в нем сознание его величия. На-

конец он послал местному Совету извещение, что его приближение будет возвещено пушечной пальбой, после чего делегаты должны немедленно собраться. С револьвером в руке, он расхаживал по трибуне и, читая свое предложение испуганным слушателям, каждую фразу подчеркивал выстрелом в воздух. Но период, когда могли процветать подобные авантюристы, был весьма непродолжителен.

Новый творческий дух.

«Какие бы другие расходы ни пришлось бы нам ограничить,—заявили большевики,—но расходы на народное просвещение должны остаться высокими. Широкий бюджет на дело воспитания составляет честь и славу каждого народа. Первою нашею задачею должна быть борьба против невежества».

Везде были устроены школы,—даже во дворцах, казармах и на фабриках. Над входом стояла надпись: «Дети—надежда мира». Миллионы детей посещали эти школы, некоторые из этих детей насчитывали уже 40 или даже 60 лет от роду; были между ними и старухи, и седобородые старики. Целый народ стал учиться читать и писать.

На-ряду с революционными воззваниями и театральными афишами на стенах и заборах, появились биографии великих людей, краткие статейки по вопросам гигиены, искусства и науки. Были открыты рабочие театры и библиотеки, читались лекции. Ворота, ведущие к культуре, остававшиеся до тех пор запертыми для народа, широко распахнулись. Крестьяне и рабочие массами стали посещать музеи и галлереи.

Большевики стремились, однако, не только к прогрессу умственному, но и физическому. С этой целью было создано множество законов как, напр., закон о 8-часовом рабочем дне. Было об'явлено право каждого ребенка на звание «законнорожденного»; пятно внебрачного сожительства было уничтожено. Все отрасли производства должны были обеспечить по одной койке в родильном приюте на каждых двести работниц. Мать должна быть освобождена от работы на восемь недель до родов и восемь недель после них. В различных центрах были устроены Дворцы Материнства. Вместо богачей, право на «деликатесы», вроде молока и фруктов, получили дети. По жилищному декрету, богач потерял

„Хаос необходим для рождения новой звезды", сказал Ницше. Из русского хаоса родилась могучая Красная армия—ее эмблема пятиконечная звезда, ее командир Троцкий.

право иметь десять, двенадцать комнат или, быть может, даже такое же количество домов. С другой стороны, дюжина семейств получила, таким образом, впервые право дышать свежим воздухом, пользоваться светом и другими удобствами приличного помещения. И, благодаря этому, не только улучшилось состояние их здоровья, но вместе с тем возросло в них и сознание собственного достоинства. Диктатура пролетариата, опиравшаяся на массы, стремилась вырастить здоровых людей, с чистым телом, умом и совестью. Большевики работали для будущего.

После уничтожения старого буржуазного строя, они стали теперь лицом к лицу с гораздо более трудной задачей—создания нового строя. Им предстояло построить его сызнова во всех его проявлениях, начиная с фундамента, на развалинах прошлого, построить его, несмотря на то, что им мешали и их ругали со всех сторон.

Невозможно преувеличить величие этой задачи—реорганизации нового общества. Я видел лишь некоторые из препятствий, которые им пришлось преодолеть в одной области, в военной. Троцкий только что бросил тогда в лицо генералу фон-Гофману свои слова: «Вы пишете мечем на телах живых наций», и отказался подписать первый брест-литовский договор. Немцы начали тогда неожиданный поход на Петроград. Я присоединился тогда к Красной гвардии, которая должна была защищать город. Услышавши об этом, Ленин предложил мне образовать иностранный отряд. «Правда» напечатала наш призыв самым лучшим из находившихся в ее распоряжении английских шрифтов.

Около шестидесяти человек присоединилось к отряду. Между ними был Чарльз Кунц, бывший раньше толстовцем, и который испытывал бы угрызения совести, если бы он убил хотя даже курицу. Теперь же, увидев, что революция находится в опасности, он решился взять в руки ружье. Было нелегким делом превратить пятидесятилетнего философа в солдата. При упражнениях в стрельбе ружье всегда почти запутывалось в его бороде; однажды он попал в черный кружок, и его глаза заблестели от радости.

Мы представляли собою пестро составленную толпу и, в качестве боевой силы, были весьма нетребовательны. Но все-таки дух, господствовавший в нашем отряде, оказывал на русских хорошее влияние; благодаря его существованию, они не чувствовали

себя совершенно одинокими. Для нас же создалась возможность в маленьком масштабе ознакомиться с теми затруднениями, против которых большевики должны были вести борьбу в огромном масштабе. Мы увидели тысячи препятствий, которые должны быть преодолены раньше, чем какая-либо организация начнет функционировать.

В наш отряд пытались проникнуть, с одной стороны, английские и французские агенты, с другой—германские. Белые пытались овладеть им в своих контр-революционных целях. Провокаторы сеяли в его рядах зависть и разногласия. Когда мы, наконец, собрали людей, оказалось почти невозможным достать необходимое военное снаряжение. Военные склады находились в состоянии полнейшего хаоса. В одном месте лежали ружья, в другом—пули; телефонная проволока, колючая проволока и саперные инструменты валялись вместе в одном клубе; офицеры же, со своей стороны, делали все возможное, чтобы еще более увеличить хаос. Когда саботажники были выброшены, их место заняли совершенно неопытные люди. Мы должны были обучаться военному искусству в двух милях за Петроградом. После ужасной поездки на грузовых телегах, мы сделали открытие, что мы очутились в четырех милях расстояния на противоположной стороне города. В течение этой ночи мы потеряли напрасно шесть миль и были доставлены во двор, переполненный изрыгающими проклятия солдатами, поврежденными железнодорожными вагонами и испорченными локомотивами. Разгневанные комиссары подносили кулаки и мандаты к носам железнодорожных чиновников, с отчаянием в голосе кричавших, что они ничего не могут сделать.

Это было отражением всего хаоса, господствовавшего в России. Водворение порядка в этой сумятице казалось совершенно неразрешимой задачей. Однако невозможное было сделано. Из этого хаоса постепенно выросла Красная армия, которая впоследствии поражала весь мир своей организациею, дисциплиною и боеспособностью. И не только в военной области, но также и в хозяйственной и культурной областях начали сказываться результаты руководства могучего духа, рожденного революцией.

В русских массах постоянно дремала огромная скрытая энергия, но она никогда не проявлялась на деле. Суровый тюремщик—самодержавие—держало ее под замком и запором. Револю-

ция пришла в качестве освободителя, и эта энергия вырвалась на волю с яростью, накопленною веками,—и разрушила буржуазный строй.

Мы видели уже, как революция развязала огромные силы народа для разрушения, теперь же мы видели, как революция пробуждала творческие силы и направляла их к созиданию. «*Порядок, работа, дисциплина*» стали новыми лозунгами революции.

Но в одних ли только крупных городах зарождается этот новый дух? Или тот же самый процесс совершается также и в провинции, внутри всего огромного населения России? На этот вопрос мы сможем ответить ниже. После года, проведенного в центре русской революции, Кунц и я решили возвратиться домой. Наши глаза обратились на восток—к Америке. Наше путешествие поведет нас через две части света, через которые простирается Россия,—по Сибирскому железнодорожному пути, тянущемуся 6.000 миль до Тихого океана.

Часть III

РАЗМАХ РЕВОЛЮЦИИ

В экспрессе через Сибирь

ГЛАВА XIII.

СТЕПИ ВОССТАЮТ.

Конец апреля 1918 г. Кунц и я прощаемся с красной Петроградской Коммуной. Падают снежинки, опускается на землю ночь. Бурный, голодный старый город, но дорогой нам со всеми своими тысячами светлых и темных явлений революции, ибо каждая почти улица в нем была сценой, на которой был разыгран какой-либо акт колоссальной революционной драмы.

Площадь, на которую мы смотрим со ступеней Николаевского вокзала, окрашена кровью первых жертв революции, и мы помогали покрыть его дождем плакатов, которые мы бросали в полночь из трамвая. На ней звучали шаги маршировавших рядов, уносивших своих покойников и певших похоронный марш; ее наполнили торжествующие возгласы: «Вся власть Советам!». Площадь эта была свидетелем атаки казацких лошадей на рабочих, падавших на землю под ударами нагаек. И она видела также возвращение рабочих, об'единенных в железных батальонах пролетариата—в непобедимой Красной армии России.

Множество воспоминаний привязывает нас к этому городу. Но локомотив сибирского экспресса уже готов, и он не заботится о наших чувствах. Каждую неделю поезд отправляется в свое путешествие в 6.000 миль к берегу Тихого океана и обращает внимание лишь на звук сигнального колокола, безразлично, звучит ли последний по приказу царя или большевиков. При третьем звонке мы входим в вагон, и начинается долгая поездка на Дальний Восток.

Что откроет нам этот Восток? Встретим ли мы далеко от крупных городов снова революционный дух или нет?

Взгляд эмигрантов на революцию.

Наши спутники успели уже удобно расположиться в своих купэ, пьют чай и курят папиросы. В нашем вагоне сидят около двадцати помещиков, спекулянтов, отставных офицеров в штатском, уволенных чиновников и три сильно накрашенные дамы—одни лишь члены или прислужники старого привилегированного класса.

Их прежние привилегии исчезли, но жизнь сохранила свою привлекательность. Эти люди ведь в данный момент переживают увлекательную авантюру, которая в среде эмигрантов называется «бегством из кровавых когтей большевиков». И их ожидает спустя несколько недель еще одна интересная авантюра, когда они будут рассказывать в салонах Парижа, Лондона и Вашингтона об ужасах и опасностях их бегства.

В своих рассказах они не будут, конечно, упоминать о том, что это было роскошное бегство в международном спальном вагоне, с хорошей постелью, вагоном-рестораном и прислугой. Но зато выступят на первый план другие детали—мелкие выдумки насчет убийств, насилий и грабежей, производимых большевиками. Каждый эмигрант должен привезти с собой свой собственный рассказ о большевистских жестокостях. Его бегство должно во что бы то ни стало носить потрясающий и драматический характер. Иначе оно не явится деликатесом для пресыщенных западных демократий.

Снабженные большевистскими паспортами с большевистской печатью, эти эмигранты были привезены на вокзал большевистскими кучерами, большевистские носильщики несли их багаж, они сели в поезд, кондуктора, машинисты и кочегары которого большевики. Теперь они едут по линии, на которой работают большевики-рабочие и которая охраняется большевистскими солдатами, в вагоне-ресторане им подают разные яства кельнера-большевики, а они в это время по целым часам ругают большевиков бандитами и головорезами. Любопытное зрелище! Они проклинают и ругают тех, которые дают им возможность есть, путешествовать и которые охраняют их безопасность, ибо в этом поезде все служащие большевики, за исключением проводника.

У этого была душа лакея, и он был монархистом. Несмотря на то, что он происходил из крестьян, он был «царистом» в боль-

шей степени, чем сам царь. Обращаясь к эмигранту, он называл его «барин».

— Мы, темный народ,—говорил он эмигрантам,—ленивые, легкомысленные люди. Дайте нам бутылку водки, и мы будет счастливы. Нам уже не нужна тогда свобода. Нам нужна нагайка, заставляющая нас работать. Нам нужен царь.

Эмигранты были от него в восторге. Он был для них неиссякаемым источником утешения—ярким лучем света в беспроглядной большевистской ночи.

— В этом честном мужике,—говорили они,—проглядывает душа миллионов русских крестьян, довольствовавшихся тем, что они служили своим господам, слушались священников и любили царя. Некоторые из них, конечно, введены в заблуждение бреднями большевиков, но таких лишь ничтожное количество. Что общего имеют эти миллионы терпеливых работящих людей с тем сумасшествием, которое царит теперь в Москве и Петрограде?

Это не казалось вполне неправдоподобным. Ибо здесь вне революционной обстановки, даже нам становится трудным сохранить на прежней высоте свой напряженный интерес к революции. Все великие события как в политической области, так и в личной жизни, кажутся очень мелкими, когда созерцаешь бесконечную панораму, развертывающуюся перед глазами на этой длиннейшей железнодорожной линии мира.

Мы проезжаем через широко раскинувшиеся, засеянные рожью, поля центральной России, через большие мосты, переброшенные через могучие, текущие к северу к Ледовитому океану, реки, мы проносимся по продуваемым ветром проходам Урала, сквозь огромные тенистые первобытные леса тайги, а затем опять по сибирским степям.

В течение целого дня мы высматриваем крестьянские хижины, тесно жмущиеся друг к другу для взаимной защиты против волков и ветров, дующих с замерзших тундр; или мы становимся в длинных очередях за кипятком, покупаем у крестьянок хлеб, яйца и рыбу. Вечером мы наблюдаем, как отапливаемый дровами локомотив выплевывает дождь искр, напоминающий хвост кометы. Каждую ночь мы засыпаем под стук колес. Просыпаясь утром, мы видим стальные ленты рельс, катящиеся навстречу под стремящимся к востоку локомотиву.

Постепенно мы подпадаем под гипнотическое влияние этой огромной равнины, она пробуждает в нас чувство безграничного простора. Даже революция не приковывает к себе нашего внимания в такой степени, как раньше. Быть может она в конце концов бродильный фермент, свойственный лишь железнодорожникам и промышленным рабочим городов?

Там, в местах, оставшихся позади нас, революция была постоянно бросающимся в глаза фактом. О ней напоминали все время знамена и боевые призывы, манифестации и собрания. Здесь, в сибирских степях, нет от нее и следа. Мы видим только дровосеков с топорами в руках, крестьян на телегах, женщин с мешками, солдат с ружьями; но, за исключением некоторых красных обрывков, развевающихся на древках знамен, ничто не напоминает здесь о революции.

— Неужели и революционный дух здесь выдохся так, как поблекли эти знамена?—спрашиваем мы себя.—Неужели эмигранты правы, когда они утверждают, что единственное стремление русского крестьянина состоит в том, чтобы любить своего помещика, церковь и батюшку-царя и служить им. Действительно ли это истинная «святая Русь»?

Крах... крах... Эти звуки прерывают наши размышления. Тормазы обхватывают рельсы, они скрипят, потрясают весь вагон, так что мы падаем с наших сидений. Поезд внезапно останавливается. Все выглядывают в окна и взволнованным голосом спрашивают: «Что случилось? Не рухнул ли мост?». Но ничего не видят, кроме плоской степной равнины, на которой еще виднеются кое-где полосы снега—остатки зимы.

Большевистское нападение.

Внезапно из-за снежного бугра показывается фигура, дает сигнал кому-то находящемуся позади него и поспешно бежит по направлению к поезду. Из кустарника выскакивает другой силуэт и бежит за ним. Из-за других снежных куч и из кустарников выбегает все больше и больше фигур, и, наконец, вся равнина покрывается людьми, бегущими к поезду. Как будто земля там была засеяна драконовыми зубами, так оживают в один миг мертвые степи, покрывшиеся вооруженными людьми.

— Боже! Смотрите! Смотрите!—вскричала одна из накрашенных дам.—У них ружья! Ружья!

Вымыслы ее фантазии материализовались. Вот они облеченные в плоть и кровь большевики из их росказней. Они стали действительностью, держат в руках ружья и ручные гранаты, и выражение их лиц в высшей степени неприятно. Бегущий впереди останавливается, прикладывает руки ко рту и кричит нам: «Спустить окна!».

Никто ему не возражает. Во всем поезде спускаются окна. Настроение эмигрантов падает, так как они видят в выражении лиц приближающихся людей мало утешительного. Перед нами стоят суровые, решительные люди. Многие из них грязны, почти черны. И все они бросают мрачные взгляды на поезд. Все их приемы показывают, что оружие не является для них простым украшением.

Мы не имеем никакого представления о нашем проступке. Мы знаем только, что какая-то молния заставила наш поезд остановиться и что мы окружены чем-то рассерженными людьми. Дикие восклицания, вроде: «Убейте кровавого тирана!» доходили до нашего слуха, а когда накрашенная дама показалась у окна, то раздались иронические восклицания: «Эй, г-жа Распутина!». Накрашенная дама убеждена в том, что дикая банда лишь дебатирует по вопросу о том, должны ли мы быть вышвырнуты из поезда и убиты поодиночке или лучше сжечь поезд, или взорвать его вместе со всеми нами на воздух.

Неизвестность мучительна. Я предлагаю себя в качестве разведчика и начинаю открывать окно. Когда я приподнял его до половины, то мой взгляд попал прямо в отверстие ружейного дула, находящегося около самого моего носа. У другого конца ружья оказался высокий крестьянин, который зарычал: «Закрывай скорее окно или я буду стрелять». Было похоже на то, что он действительно приведет в исполнение свои слова, но за год моего пребывания в России я достаточно узнал характер русского крестьянина, для того, чтобы быть уверенным, что он этого не сделает, ибо русский крестьянин недостаточно цивилизован, чтобы находить удовольствие в убийстве человека. Поэтому я не закрыл окно, высунул голову наружу и произнес: «Товарищ».

— Не называй меня товарищем, ты, контр-революционер!— крикнул он мне с презрением в голосе.—Ты, кровопийца народа, монархист!

Это обычные наименования врагов революции. Но я еще никогда не слыхал, чтобы они были произнесены все сразу и притом

таким свирепым голосом. Быстро я вынул советскую рекомендацию, удостоверявшую мою благонамеренность и подписанную Чичериным. Но мой крестьянин не был очевидно силен в грамоте. Стоявший рядом с ним, тяжеловесный угрюмый человек взял из его рук бумагу и критически ее осмотрел.

— Подложная!—решил он.

Я подал ему удостоверение, подписанное Троцким. «Подложная!»—повторил он. Тогда я подал ему третий документ, выданный мне большевистским комиссаром путей сообщения. Опять лаконическое замечание: «Подложная!».

Наконец я пред'явил свой главный козырь: письмо, подписанное Н. Лениным. Мой инквизитор изучал письмо, а я выжидал, когда на его лице волшебное имя Ленина прогонит тучи и превратит их в улыбку. Это письмо, думал я, положит конец всему инциденту. Так оно и было. Но не в мою пользу. Очевидно я имел слишком много рекомендаций.

Этому человеку положение представлялось совершенно ясным. Вор, интриган, замышляющий что-то дьявольское против революции. Для того, чтобы подольститься к большевикам, он показывает целую кучу советских документов и утверждает, будто он приехал непосредственно от Ленина. Это показывает, что он необыкновенный какой-нибудь шпион. Мы должны действовать немедленно.

Он отнес мои бумаги к какому-то высокому человеку, только что слезшему с лошади. «Это Андрей Петрович, он уж разберет, что это за бумаги,—сказал высокий крестьянин с ружьем.—Он только что приехал из Москвы, знает всех большевиков и их подписи. Он знает также и контр-революционеров и все их уловки. Эти черти не сумеют обмануть Андрея Петровича».

Кунц и я молились ото всей души, чтобы Андрей Петрович оказался в действительности таким умным, каким его выставляла молва. И к счастью, он действительно оказался умным человеком. Он действительно знал большевистских вождей и их подписи. Он подверг нас маленькому допросу, результаты которого его удовлетворили. Он пожал нам руки, приветствовал нас как товарищей, и попросил выйти из вагона, так как он хочет расспросить нас о многом.

— У нас также имеется к вам множество вопросов,—воскликнули мы, и немедленно начали их задавать: «Откуда появи-

Рудокопы и крестьяне, задержавшие наш поезд, ожидая найти в нем царя.

лись внезапно все эти люди? Почему задержан поезд? Что означает это оружие?».

— Прошу задавать по одному вопросу,—ответил он, смеясь.— Во-первых, эти люди горнорабочие из угольной шахты, находящейся в полумиле отсюда, а также крестьяне из деревень. Во-вторых, четверть часа тому назад мы взяли с собой ружья и ручные гранаты не в качестве украшения, а для того, чтобы пустить их в дело. В третьих, мы задержали экспресс для того, чтобы взять из него царя и его семью.

— Царя и его семью! В этом поезде? Здесь?—вскричали мы.

— Мы этого определенно не знаем,—ответил Андрей Петрович.—Мы знаем лишь то, что двадцать минут тому назад была получена телеграмма из Омска следующего содержания: «*Только что произведено освобождение Николая офицерскою кликою. Он вероятно убегает со своим штабом в экспрессе. Намеревается восстановить самодержавие в Иркутске. Задержите его, живым или мертвым*».

(Итак, под «кровавым тираном» подразумевался царь, а под «госпожей Распутиной»—его жена).

Разочарование тех, кто собирался захватить царя.

— Мы послали двух человек в село и двух в шахту для того, чтобы ознакомить население с содержанием телеграммы,—сообщил Андрей Петрович.—Все бросили свои инструменты, схватились за оружие и побежали к поезду. Теперь здесь около тысячи человек и до вечера сюда непрерывно будут прибывать новые люди. Вы видите как глубоко наше чувство к царю. За каких-либо двадцать минут времени ему приготовлена такая прекрасная встреча. Он любит военные парады. Пусть он полюбуется этим парадом, который не совсем отвечает военным правилам, но тем не менее производит достаточно импозантное впечатление,—не правда ли?

Это соответствовало истине. Никогда еще я не видел вооруженных таким образом людей. Они походили на движущиеся арсеналы. В их руках было столько ручных гранат, что они могли взорвать на воздух тысячу царей, а в сердцах и глазах горело достаточно ненависти, чтобы уничтожить десять тысяч.

Но налицо не было ни одного царя, которого можно было бы уничтожить.

— Это, то, что я и думал,—заметил Андрей Петрович.—Это хитрая уловка контр-революции. Телеграмма имеет провокаторский характер. Они хотят приостановить работу в шахте, и это им удастся. Наши люди слишком возбуждены, чтобы сегодня встать на работу, а в течение ближайших дней будут продолжать получаться подобные же телеграммы. Они думают, что если они будут достаточно часто кричать: «Царь бежал! царь бежал!», то наши люди в конце концов перестанут обращать внимание на ложную тревогу. А когда они перестанут быть осторожными, тогда удастся провезти царя контрабандным путем. Но они не знают наших людей. Последние готовы каждый день, хотя бы в течение года, выступать, если они будут думать, что может представиться случай всадить царю пулю в грудь.

Рвение, с которым был обыскан поезд, не оставляло никаких сомнений о чувствах этих людей к царю-батюшке. Они обыскали поезд с одного конца до другого, открывали чемоданы, разбрасывали постели и разбросали даже дрова в паровозной топке, чтобы удостовериться, не запрятался ли туда его императорское величество.

Два седобородых крестьянина производили по-своему обыск, по собственной инициативе. Они ударяли ружьями по шпалам, шарили кругом них штыками и грустно качали головой, ничего там не находя. Они надеялись, что царь всея России едет на буферах. И они проделывали это под каждым вагоном, надеясь на больший успех. Здесь, однако, не было никакого царя, и они не могли поэтому заколоть его своими штыками.

Но они все-таки что-то прокалывали своими штыками: старинную легенду о глубокой любви и уважении, испытываемых мужиком к царю-батюшке. Этот красивый миф не мог пережить спектакля, данного этими добродушными старыми крестьянами, ударявшими своими штыками по каждому темному углу и рассматривавшими их с сокрушением, потому что на них не было никаких следов от царя-батюшки.

Нас преподносят в качестве суррогата царя.

Андрей Петрович был человек находчивый. Ввиду того, что он не мог преподнести своим людям царя, он использовал Кунца и меня в качестве суррогата.

— Наш мир—удивительный мир, полный неожиданностей,— сказал он своим товарищам.—Мы явились сюда для того, чтобы захватить величайшего преступника в истории человечества. Между нами нет ни одного, который не пережил бы из-за царя нищеты и страданий. И вот, вместо того, чтобы встретить здесь нашего злейшего врага, мы нашли наших лучших друзей. Этот поезд везет с собою не идею самодержавия, а идеи нашей революции,—он везет их в Америку. Да здравствует революция! Да здравствуют наши американские товарищи!

В воздухе прогремели приветственные возгласы, нам пожимали руки, делали с нас фотографические снимки. Затем мы поехали дальше. Но не надолго. Вскоре нас опять задержала бурная толпа, и это повторялось неоднократно. Напрасно мы протестовали и заявляли, что царя нет в поезде. Даже документы, удостоверявшие правильность нашего заявления, признавались фальшивыми. Каждая новая толпа успокаивалась лишь после того, как она производила обыск поезда. Таким образом самый скорый экспресс Сибирский железной дороги превратился в самый медленный.

В Мариинске комиссар путей сообщения нашел выход из этого положения. Он телеграфировал:

«Всем Советам.

Кунц и Вильямс, главные организаторы Красной армии, находятся в поезде № 2. Я приглашаю всех представителей Советов обсудить с ними положение дела.

Садовников»

Эта телеграмма прочитывалась толпе на каждой станции. Люди явились сюда со страстным желанием захватить бежавшего царя, и, вместо этого, им преподносили двух товарищей. Им приходилось быстро изменять свое настроение, но они великолепно осваивалась с этим. На каждой станции нас встречали бурею воодушевления. Новые отряды Красной армии салютовали, комиссары торжественно знакомили нас с возникавшими у них вопросами, толпа окружала нас, стремясь увидеть военных гениев.

Это было несколько утомительно, но зато весьма поучительно. Мы увидели новую развивающуюся цивилизацию, мы ви-

дели, как нарождалось будущее. В одном из городов был уже заложен первый кирпич: крестьяне об'единились в центральном Совете с рабочими. В других городах, наоборот, ничего еще не было сделано—интеллигенция бастовала. В других городах опять-таки новое строительство шло успешно. Советские школы были переполнены, крестьяне привозили на рынок хлеб, на фабриках производились товары, а не только речи. Результаты, пока еще сырые и несовершенные, обнаруживали нарождение творческой силы в массах.

Мы обращали внимание эмигрантов на эти факты, но они были заняты заготовкой лживых сообщений для демократии Запада, и факты мешали им и их раздражали. Некоторые из эмигрантов стали относиться к нам неприветливо и недоверчиво и видели в нас отступников и изменников своему классу. Другие что-то глупо лепетали на старые темы: о золотых днях царизма, о «темноте» русских масс, об «идиотском ослеплении большевиков».

ГЛАВА XIV.

КРАСНЫЕ КАТОРЖНИКИ ЧЕРЕМХОВА.

Эмигранты, ехавшие в поезде, по многим пунктам придерживались различных мнений, но в одном пункте они вполне сходились—в страхе перед серьезной опасностью, угрожающей нам в Черемхове, большом сибирском исправительном поселении.

«В Черемхове,—говорили они,—около пятнадцати тысяч преступников самого худшего сорта, грабителей, воров и убийц. Самой благоразумной мерой в отношении этих людей было запрятать их в шахтах и держать их там под вооруженной охраной. Но и при этих мероприятиях они пользовались слишком большой свободой. Каждую неделю происходили кражи и убийства. Теперь большинство этих чертей очутились на свободе и стали большевиками. Черемхово всегда было адом; бог знает, во что оно превратилось теперь».

1-го мая, в холодное неприветливое утро, мы прибыли в Черемхово. Над городом висела туча пыли, поднятой северным ветром. Мы дремали еще в своем купэ и были разбужены криком: «Они под'езжают! Они под'езжают!..». Мы взглянули в окно, но, за исключением крутившейся пыльной тучи, ничего не могли разглядеть. Затем мы стали различать сквозь пыль какое-то красное мерцание, серый блеск стали и неясно проступавшие двигавшиеся черные массы.

За опущенными занавесками эмигранты с дикой торопливостью прятали драгоценности и деньги или сидели без движения, парализованные страхом. Слышалось извне, как скрипел пепел под подбитыми гвоздями сапогами. Никто не знал, с каким настрое-

нием являлись «они», с какими желаниями в крови, с каким оружием в руках. Мы знали только, что это были страшные черемховские преступники, «убийцы, воры, грабители», и видели, что они приближаются к нашему вагону.

Они медленно продвигались вперед, ветер засорял их глаза пылью и сажей и пытался вырвать из их рук красное знамя. Вдруг ветер стих, пыльный туман спал, и перед нашими глазами предстал вид оригинальной и пестро составленной толпы.

Одежда этих людей была черна от угольной пыли, держалась на веревочках, их лица были грязны и имели свирепое выражение. Некоторые из них напоминали по своей силе быков, другие были искривлены тысячами бурь. Здесь находились преступники-каннибалы Толстого с косо поставленными бровями и грубыми челюстями. Это был «Мертвый дом» Достоевского. Они подходили прихрамывая, с изборожденными лицами, с остановившимся взглядом, со следами пуль, ножей и несчастных случаев на работах в шахте; некоторые же носили на себе следы проклятия дурной наследственности. Но слабых людей между ними почти не было видно.

Посредством долгого процесса отсеивания слабые были уничтожены. Эти тысячи пережили десятки тысяч, пригнанные по большому шоссе в Черемхово. Они пришли сюда под дождем и снегом, замерзая зимой от холода и палимые солнцем летом; их члены тела были изуродованы в застенках: жандармские сабли рассекали им череп; железные кандалы врезывались в их тело; казацкие нагайки разрубали им кожу на спине, и копыта казацких лошадей топтали их.

И, подобно их телам, души их также подвергались бичеванию. Закон преследовал их по следам, как бешеных собак, загоняя их в подземелье, в этот ад, в котором их заставляли работать, как скот, копать уголь в темноте для тех, которые живут при свете солнца.

Теперь они вышли из ям на поверхность земли, с ружьями в руках, с развевающимся красным знаменем восстания, они идут по большим дорогам подобно большому стаду, олицетворяющему грубую силу. На их пути находятся роскошные салон-вагоны— другой мир, отстоявший от них раньше на миллионы миль. И теперь он так близок, что они могут схватить его руками. В три

минуты они могут разграбить весь поезд и опустошить его так, как будто здесь пронесся ураган. Как сладко самому хоть раз вкусить от этой роскоши! И как это доступно? Несколько шагов вперед, минутная атака.

Они не обнаруживают, однако, ни ярости, ни поспешности. Положивши знамена на землю, они становятся полукругом против поезда. Теперь мы в состоянии различать также и черты их лиц. Мрачные, недоверчивые лица, глубоко изборожденные ненавистью, огрубевшие от слишком тяжелой работы. И на всех лицах лежит печать порока и страха, следы невыразимых бесконечных страданий.

В их глазах мерцает, однако, какой-то странный огонек—нечто вроде экзальтации. Но, быть может, это искра мести? Удар за удар? Закон нанес им тысячи ударов. Не пришел ли теперь их черед? Не отмстят ли они теперь за бесконечные годы горя?

Товарищи-каторжники.

Моего плеча касается рука. Мы оба оборачиваемся и видим лица двух рослых шахтеров, сообщающих нам, что они комиссары Черемхова. В то же время они подают знак знаменосцам, и красные знамена взлетают высоко вверх. На одном начертано большими буквами хорошо известное изречение: «Пролетарии, восстаньте! Вам нечего терять, кроме своих цепей». На другом: «Мы протягиваем руки всем горнорабочим всего мира. Мы приветствуем товарищей всех стран».

«Шапки долой!»—кричит комиссар. Люди неуклюже обнажают голову и стоят с шапками в руке. И тогда они начинают петь Интернационал:

«Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов.
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разроем
До основанья, а затем
Мы новый, лучший мир построим—
Кто был ничем, тот станет всем».

Я слышал пение Интернационала на улицах многих городов мира, я слышал, как пели эту песню бунтовавшие студенты в уни-

верситетских залах, я слышал, как пели Интернационал две тысячи советских делегатов в залах Таврического дворца. Но никогда певцы не были так похожи на «проклятьем заклейменных». Они большей частью были друзьями или представителями этих «заклейменных». Эти же преступники были сами заклейменные, самые несчастные из всех заклейменных на земле. Несчастные по своему виду, по одежде и даже по голосу.

Они пели разбитыми голосами, фальшиво, в их песне звучало страдание и протест разбитых людей всех веков: стоны военнопленных, стоны прикованных к веслам каторжников, крики колесованных крепостных, жалоба распинавшихся на кресте, сжигавшихся на кострах, смертное мучение миллионов осужденных, взывавших жалобными голосами из далекого прошлого.

Эти преступники были наследниками мучений долгого ряда столетий. Они были отвержены, раздавлены тяжелою рукою общества, брошены в темень этой ямы.

И ныне поднимается из ямы победный гимн побежденных. Эти люди, которых долго ударами нагаек заставляли молчать, запели песню—не песню жалобы, но победную песню. Они больше уже не отверженные, а граждане, более того—строители нового общества.

Они окоченели от холода, но сердца их горят. На грубых измученных лицах светится отблеск утренней зари. Печальные глаза светлеют, суровые взоры становятся мягкими. В них виднеется обаятельная мечта трудящихся всех народов, об'единенных в едином братском союзе—в Интернационале.

«Да здравствует Интернационал! Да здравствует американский пролетариат!»—восклицают они. Потом из их рядов выступает колоссальный мужчина, настоящий Жан Вальжан из романа Виктора Гюго «Несчастные», с сердцем Жана Вальжана.

«От имени шахтеров Черемхова,—говорит он,—мы приветствуем товарищей, прибывших с этим поездом. Какая разница между нынешним и прежним временем. Здесь проходили ежедневно поезда, но нам нельзя было близко подойти к ним. Мы знаем, что многие из нас совершили скверные поступки, но со многими из нас поступили несправедливо. Если бы существовала справедливость, то некоторые из нас сидели бы в поездах, и некоторые из пассажиров работали бы в шахте.

«Но большинство пассажиров совершенно не знали даже, что существуют шахты. Лежа в своих теплых постелях, они не имели представления о том, что под землею работают тысячи кротов, которые добывают уголь для того, чтобы отапливать вагоны и давать пищу локомотивам. Они не знали, что сотни из нас умирали от голода, засекались до смерти, погибали при несчастных случаях в шахте. Да если бы они и знали об этом, то это их не интересовало. В их глазах мы были ничем.

«Теперь, однако, мы—всё! Мы присоединились к Интернационалу и входим в состав пролетарской армии всех стран. Мы—ударный отряд этой армии, мы, бывшие рабами, теперь свободнее всех.

«Однако, товарищи, недостаточно того, что мы свободны. Мы требуем свободы для рабочих всего мира. Пока не освобождены все рабочие, мы не можем использовать целиком нашу свободу, владеть горными промыслами, управлять ими.

«Жадные руки империалистов всего мира протягиваются уже через море к нам, и лишь руки пролетариев всего мира могут освободить наше горло от удушения».

Глубокое проникновение в суть положения, которое обнаружил этот человек, было поразительно. Кунц был настолько поражен, что он в своей речи стал лепетать что-то несвязное. Я сразу забыл все свои познания в русском языке. Мы играли довольно бесцветную, плачевную роль. Но шахтеры, казалось, этого не замечали. Они заполняли паузы возгласами в честь Интернационала и звуками интернационального оркестра.

«Оркестр» состоял из четырех скрипок, на которых играли военнопленные—чех, венгерец, австриец и немец. Эти люди попали в плен на восточном фронте, пересылались из лагеря в лагерь, пока они не очутились в Черемховском поселении, в тысячах миль расстояния от родины... По своей расе и психике они еще дальше отстояли от русских. Но революция уничтожила различие расы, верований и каст. Они играли здесь для товарищей-преступников так же, как они играли в более счастливые дни в Берлине или Вене, в ярко освещенных садах, на музыкальном празднике. Страсть, кипевшая в их крови, переходила в струны скрипок и в сердца слушателей.

Мы все—шахтеры, музыканты, путешественники, немцы, славяне и американцы—стали единым целым. Все барьеры, разде-

лявшие нас, упали, когда комиссары протолкались к нам, чтобы нас приветствовать. Колоссальный парень, с руками, напоминавшими лопаты, подошел к нам, пожал нам руки, два раза попытался заговорить, но голос отказывался служить ему. И, так как он не был в состоянии выразить своих братских чувств словами, он выразил их тем, что больно сжал нам наши руки. Я еще и теперь могу чувствовать это пожатие.

Он очень заботился о том, чтобы первое публичное торжество Черемхова прошло достойным образом. Очевидно в нем, откуда-то из его прошлого пробудилось воспоминание, что в таких случаях не только произносятся речи, но и преподносятся подарки. Он исчез на миг, а затем прибежал с двумя динамитными стержнями—подарком от Черемхова обоим американцам. Мы не хотели их брать, а он настаивал. Мы указали ему, что, вследствие неожиданного толчка, делегаты и динамит могут взлететь вместе на воздух, что будет потерею для Интернационала. Толпа смеялась. Он напоминал своим видом обиженного ребенка, был огорчен и смущен, но, в конце концов, сам рассмеялся.

Вторая скрипка, голубоглазый венец, непрерывно смеялся. Плен не отнял у него склонности к юмору. Он захотел в честь американцев сыграть джаз, по крайней мере, он так назвал то, что он сыграл, но что касается меня, то я ни до, ни после этого не слыхал такой странной мелодии. Он играл не только смычком, но и руками, и ногами и при этом плясал, к большому удовольствию публики.

Наш дружеский праздник был прерван звуками сигнального колокольчика. Мы еще раз пожали множество рук, вошли в поезд, и оркестр заиграл снова Интернационал:

«Это есть наш последний и решительный бой,
С Интернационалом воспрянет род людской».

В этой встрече не было изящества внешнего блеска, здесь господствовала уродливость, скрашиваемая одним—огромной жизнеспособностью. Мы получили откровение об ударной силе революции. Она проникла даже сюда—в эти глубочайшие подвалы цивилизации, она прозвучала, как трубный сигнал, в этом царстве проклятия, и от этого трубного звука упали стены находившегося наверху здания. И люди поспешили выйти наружу не с глазами, налитыми кровью, с пеною у рта, с кинжалами в руках, но с пес-

нями братства на устах, с призывом к осуществлению на земле прав и справедливости и с лозунгами нового мира на их знаменах.

Эмигранты остаются при своем.

Все это не произвело никакого впечатления на эмигрантов. Ни один луч этого чуда не проник через панцырь их классовых интересов. Их прежнее пугливое настроение превратилось в насмешливое:

«Вот ваш большевизм! Арестантов он превращает в государственных деятелей. Прекрасное зрелище, не правда ли? Преступники, шатающиеся по улицам, вместо того, чтобы работать в шахтах. Вот что дает революция».

Мы указывали на то, что революция дает также и нечто другое—порядок, самоуважение и братские чувства. Но эмигранты не хотели замечать это.

«Это только на первое время, — смеялись они. — Как только возбужденное состояние спадет, эти люди начнут опять воровать, пьянствовать, убивать». Эмигранты видели во всем этом, в лучшем случае, лишь преходящее настроение экстаза, которое исчезнет вместе с нашим поездом.

Мы наклонялись из окна и посылали прощальные приветы сотням махавших в нашу сторону грязных рук. Наши взоры были прикованы к этому зрелищу. Мы видели, как вдали исчезали силуэты черемховцев, стоявших без шапок при режущем ветре; мы видели, как ритмически опускались и поднимались руки Жана Вальжана, красное знамя с «приветом пролетариям всего мира» и бесчисленные руки, протянутые по направлению к исчезающему поезду. Наконец, все скрылось в пыли и дали.

* * *

Два года спустя в Детройт приехал из Черемхова Джо Реддинг и рассказал, как он наблюдал там влияние революции, и о том, каковы были результаты. Кражи и убийства полностью почти прекратились. Дикие звери превратились в людей. Люди, только что освободившиеся от кандалов, добровольно подчинились дисциплине советской армии. При старом режиме эти люди были преступниками против законов, теперь они стали защитни-

ками нового права. Они, которые могли бы копаться в бесчисленных обидах, нанесенных им лично, занялись уничтожением несправедливостей всего мира. Они получили широкие программы для применения своей энергии, грандиозные перспективы для просветления своего духа.

Для богачей и привилегированных, для тех, которые сидят в садах-крышах больших отелей и раз'езжают в салон-вагонах,— для них революция—предмет ужаса, антихрист. Но для униженных и оскорбленных революция, это—мессия, который приходит, «чтобы принести бедным благую весть, освобождение пленных, излечение раненых». И больше уже не может преступник Достоевского говорить: «Мы—не живые люди, хотя и живем. Мы не лежим в могиле, хотя мы—мертвые». В «Мертвом доме» революция означает воскресение из мертвых.

ГЛАВА XV.

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ СОВЕТ И ЕГО ВОЖДИ.

Где находятся границы революции? Мы видели, как все больше и больше продвигалась вперед революция, начатая городскими рабочими и как она все глубже и глубже проникала в народ, захватывала массы. Когда она захватила черемховских узников, она достигла самой большой глубины, в вертикальном направлении она уже не могла проникнуть дальше. Но как далеко она может распространиться в горизонтальном направлении? Будет ли она в этом отдаленном городе, передовом посту Тихого океана, обладать той же силой, что и у Атлантического океана? Будет ли революция на этой отдаленнейшей границе России иметь столь же сильно бьющийся пульс, как в сердце страны?

Мы проехали через целый мир Советов, через могучие, текущие к северу, реки, через Урал, чрез тайгу и степи. Железнодорожники и горнорабочие говорили о своих Советах, крестьяне и рыбаки, с красными знаменами в руках, приветствовали нас от имени своих Советов. Мы совещались с Советом центральной Сибири и с Дальневосточным Советом. Вся Амурская область была покрыта Советами. И, когда мы сошли с поезда во Владивостоке, мы встретили здесь точную копию Петроградского Совета, оставленного нами в семи тысячах миль позади нас.

В течение шести месяцев Совет пустил глубокие корни в русской земле и вытеснил всех своих соперников; ныне он господствовал без ограничения от Ледовитого океана до Черного моря, от Нарвы у Атлантического океана до Владивостока, глядящего в Тихий океан.

Владивосток построен на холмах, его улицы круты, как тропинки Альп. С помощью лишней лошади, запряженной в дрожки,

мы, однако, взобрались так быстро по камням, как мы ездили в Петрограде по деревянной мостовой Петрограда. Главная улица города, Светлянская, идет вверх и вниз и усеяна торговыми домами французов и англичан. На этой улице находятся также «Американская компания жатвенных машин», а также здания новых правителей России—Красного флота и Совета Рабочих Депутатов.

Со всех холмов угрожающе смотрят массивные крепости, но, в действительности, они были в то время безобидны, как голубятни. В первые же дни войны большие орудия были сняты и отправлены на восточный фронт. Это—незащищенный город, перерезанный странной водяной полосой, называемой «Золотым Рогом». Здесь стояли на якоре прибывшие без приглашения военные суда союзников. Их флаги представляли для эмигрантов, по окончании их поездки по Сибири, приятное зрелище. Со вздохом облегчения они поселились здесь. Скоро, думали они, революция кончится, и тогда они смогут возвратиться обратно в Россию и снова начать старую жизнь.

Убежище эмигрантов.

Город был переполнен изгнанными помещиками, мечтавшими о своих имениях, о челяди и о праздном безделье минувших дней. Офицеры вели разговоры о прежней дисциплине, когда солдаты при виде их соскакивали с тротуаров в канавы и становились во фронт, в то время как им наносили удары по лицу. Спекулянты жаждали возвращения доброго старого времени, войны, когда «патриотическая» их деятельность добывала 50, 100 и даже 500% прибыли. Исчезли сказочные богатства. Революция их выбросила вместе с произволом офицеров и мечтами помещиков.

В качестве порта для выезда Владивосток был полон русских эмигрантов. В качестве порта для в'езда, он был полон антантовских капиталистов. Он был ключом к воротам Эльдорадо. Сибирь, со своими неиспользованными естественными богатствами и своей дешевой рабочей силой, как магнит, притягивала к себе агентов мирового капитала. Они прибывали из Лондона и Токио, с парижской биржи и Уолл-стрита *), влекомые блестящими перспективами.

*) Улица в Нью-Йорке, на которой находится биржа.

Но они вскоре увидели, что между ними и богатыми рыбными промыслами, золотыми россыпями и лесами находится большой барьер: Совет. Русский рабочий не захотел более подвергаться эксплоатации со стороны русских капиталистов, но он также не хотел, чтобы его пот и кровь превращались в дивиденды, которые пойдут в карманы иностранных банкиров. Совет был орудием, через посредство которого нашел себе выражение отказ всем эксплоататорам.

Союзнические эксплоататоры, встретившие те же препятствия, что и русская буржуазия, реагировали таким же образом, как последняя. Они сочувственно выслушивали проклятия и брань своих русских братьев, которые смотрели на Совет и его членов, как на порождение ада.

В этом буржуазном кругу жили консулы союзников, офицеры, члены «Ассоциации христианских молодых людей», интеллигенция, и они редко выходили за его пределы. Они находились в революционной России, но они не вступали ни в малейшее соприкосновение с революцией. И это было вполне естественно. Рабочие и крестьяне плохо знают французский и английский языки, не умеют хорошо одеваться и не имеют представления о том, как заказывается хороший обед.

Нельзя, однако, сказать, что союзническое общество оставалось без всякой информации. Их друзья из среды русской буржуазии и их собственные предрассудки доставляли ее им. Правда, это была скудная и догматическая информация, которая формулировалась в следующего рода аксиомах:

«Совет состоит, главным образом, из бывших преступников».

«Четыре пятых большевиков—евреи».

«Революционеры—обыкновенные грабители».

«Красная армия продажна и обратится в бегство при первом выстреле».

«Темные невежественные массы идут за своими вожаками, а эти вожаки подкуплены».

«Царь имел, пожалуй, свои недостатки, но Россия нуждается в железной руке».

«Совет уже шатается, и просуществует максимум еще две недели».

Самое поверхностное ознакомление с положением раскрыло бы лживость подобных утверждений. А, между тем достаточно было их повторять, чтобы слыть человеком с глубоким взглядом на вещи.

Того же, который прибавлял: «я не считаюсь с тем, что говорят другие о Ленине и Троцком, я знаю, что они—германские агенты»,—этого приветствовали в качестве товарища по духу, истинного борца за демократию.

Однако и здесь было несколько честных искателей истины. Таким был, напр., приветливый командир американской эскадры, имевший неосторожность пригласить меня на обед на свое флагманское судно «Бруклин». Американский консул также пытался прорвать кольцо лжи. Он выжидал, однако, указаний из Вашингтона и до получения их отказывался визировать паспорт. Таким образом я был вынужден провести во Владивостоке семь недель.

Чем более открыто я проявлял свою симпатию к рабочим и крестьянам, тем более враждебно настраивалась по отношению ко мне буржуазия. Я вступил в близкий контакт с Советом, имел возможность наблюдать его работу, принимать в ней участие и насчитывал многих его членов среди моих друзей.

Несколько студентов поддерживают Совет.

Между этими друзьями наиболее близким был Константин Суханов. Когда вспыхнула мартовская революция, он был студентом-естественником Петроградского университета. Он поспешил возвратиться в свой родной город Владивосток. Тогда он был меньшевиком. После корниловской авантюры он стал горячим большевиком. Он был мал ростом, но обладал огромной энергией. Он работал днем и ночью, лишь изредка позволяя себе вздремнуть часок в маленькой комнатке, находившейся над помещением Совета, постоянно готовый сесть за пишущую машинку или вскочить на коня. Лицо его, большею частью, имело озабоченное выражение, но иногда он вдруг начинал заразительно смеяться. Он говорил кратко, но часто с зажигательной страстью. Однако обыкновенный пылкий юноша не годился бы для Владивостока, представлявшего собою в то время пороховой магазин. Благодаря его дипломатическому искусству и такту ему удавалось не раз вывести Совет из затруднительного положения, в которое последний попадал вследствие происков своих врагов.

Суханов, к которому относились с уважением даже самые непримиримые политические враги его, был избран в председатели Совета. Таким образом он очутился на самом верху, на кончике стрелы, пущенной большевистским движением к побережью Тихого океана и в восточный мир. В 24 года он стоял перед задачей, разрешение которой требовало всей мудрости старого дипломата.

Но искусство управления было у него в крови. Его отец был чиновником старого режима, на которого было возложено производство арестов революционеров. Между молодыми людьми, тайно боровшимися против царя, он открыл свою собственную дочь и сына Константина. Константин был арестован. Угрюмо и с горьким упреком смотрел отец сыну в лицо в зале суда.

По милости его императорского величества старший Суханов занял судейское кресло, за которым развевался трехцветный флаг самодержавия. Когда мы прибыли во Владивосток, этот флаг был заменен красным знаменем революции. Но, несмотря на это, в судейском кресле сидел опять-таки Суханов, на этот раз сын Константин, председатель владивостокского Совета милостью их республиканских величеств рабочих, крестьян и матросов Российской Советской Республики.

Удивительная превратность судьбы, вызванная революцией! Точно так, как некогда было раскрыто участие молодого Суханова в замыслах против царя, так теперь был обвинен старый Суханов в заговоре против Советской власти. И опять встретились лицом к лицу в зале суда отец и сын, контр-революционер и революционер, монархист и социалист. Но на этот раз судьею был сын, а обвиняемым отец. И в этом единственном случае Константин Суханов не соблюл своего революционного долга: он отказался посадить в тюрьму своего отца!

Правою рукою Суханова был студент Сибирцев. Кроме того, работали еще три студентки: Зоя, Таня и Зоя; первая в качестве секретаря местного комитета большевистской партии, вторая в качестве секретаря финансового отдела, а третья в качестве секретаря редакции «Крестьянин и Рабочий». Первая была дочерью офицера, вторая—священника и третья—купца. Они совершенно отказались от буржуазной обстановки и слились с пролетариатом. Живя на пролетарские доходы, они мыслили по-пролетарски и жили как пролетарии. Их квартира состояла из двух холодных

комнат, которые они называли «Коммуной». Они спали на походных кроватях, на досках которых лежали соломенные матрацы.

Эти студенты и студентки соответствовали тому представлению, которое создалось о традиционных русских студентах. Однажды вечером, когда мой язык стал заплетаться от трудностей русского языка, Сибирцев сказал: «Мы можем, однако, говорить по-латыни, все мы ведь были в университете». А сколько американских студентов окажется в состоянии понять хотя бы латинские слова, значащиеся в их дипломе? Эти русские студенты не только говорили по-латыни, но и сочиняли латинские стихи. Я совершил стратегическое отступление обратно к русскому языку.

Вожди, вышедшие из рядов.

За исключением этих студентов, членами владивостокского Совета были рабочие, механики, рыбаки, железнодорожники и т. д. Но они были русскими рабочими, двигавшими во время своей работы не только руками, но и мозгами. Поэтому тяжелая рука царя упала и на их плечи. Некоторые из них были арестованы, другие были вынуждены бежать и скитаться по всему свету в качестве бездомных странников.

Следуя призыву революции, они возвратились домой из изгнания. Уткин и Иордан, жившие в Австралии, говорили по-английски, Антонов, приехавший из Неаполя, владел итальянским языком.

Мельников, Никифоров и Преминский, по выходе из тюрьмы, умели говорить по-французски. Это трио превратило тюрьму в университет. В особенности они набросились на математику и стали в ней специалистами, они разрешали уравнения так же хорошо, как разрешали вопросы революции.

Семь лет они были связаны друг с другом в тюрьме, теперь они были на свободе, и каждый из них мог пойти своим путем. Но они были вместе в несчастьи, и теперь свобода не могла их разлучить. Духовно, однако, они были далеки друг от друга и с отчаянной энергией защищали противоположные взгляды. Но если в теории они постоянно удалялись друг от друга, то, когда доходило до дела, они образовывали единое целое. Партия Мельникова не поддерживала Советов, а его два друга стояли на стороне Советов. Поэтому и он поступил на советскую службу в качестве комиссара почт и телеграфов.

В душе Мельникова происходила сильная борьба, прорывшая глубокие морщины на его лице и оставившая в его глазах болезненное выражение. Однако на его лице было написано сознание победы и великого спокойствия. Его глаза сияли, и улыбка постоянно играла на устах. Чем мрачнее становилось положение, тем чаще он улыбался.

Со стороны интеллигенции Совет получил очень небольшую поддержку. Она его бойкотировала, требуя, чтобы рабочие изменили свою программу. Эти люди постановили на общем собрании прибегнуть к тактике саботажа.

Один рудокоп бросил им в лицо горький саркастический ответ: «Вы очень гордитесь вашими знаниями и искусством! Но откуда вы их имеете? От нас. Все это куплено нашим потом и кровью. Вы сидели в гимназиях и университетах в то время, как мы работали во мраке шахт и в дыму фабрик. Теперь мы требуем от вас помощи. И вы отвечаете: «Откажитесь от вашей программы и примите нашу, и тогда мы придем вам на помощь». Но мы говорим вам: «Мы не откажемся от нашей программы, и мы обойдемся и без вас».

Неслыханная смелость со стороны рабочих, новичков в искусстве управления, взявших в свои руки власть в стране, равной по своей величине Франции и такой же богатой, как Индия, в стране, в которой вдобавок расположились в большом количестве интригующие империалисты.

Перед пролетариатом встали тысячи разнообразных задач.

ГЛАВА XVI.

МЕСТНЫЙ СОВЕТ ЗА РАБОТОЙ.

Владивостокский Совет захватил власть, не проливши ни капли крови. Эту задачу он выполнил шутя; но задача, перед разрешением которой он очутился, была тяжела, страшно тяжела и сложна.

Первым вопросом, который надо было разрешить, был вопрос экономический. Промышленная разруха, явившаяся результатом войны и революции, возвращение солдат, локауты вызвали массовую безработицу. Совет понял, какую опасность представляют собою эти незанятые руки и начал открывать предприятия. Руководство этими предприятиями было передано рабочим, и Совет предоставил им необходимые средства.

Вожди охотно ограничили свои жалованья минимумом. Согласно декрету центрального Совета высший оклад советского служащего был ограничен пятью стами рублей в месяц. Владивостокские комиссары указали на большую дешевизну жизни на Дальнем Востоке и удовольствовались тремя стами рублей в месяц. Если кто-либо заявлял о желании получать большее жалованье, то ему задавали вопрос: «Ты хочешь получать больше, чем Ленин или Суханов?». На это отвечать было нечего.

Совет организует промышленность.

Как только рабочие получили предприятия в свои руки, их настроение изменилось. При правительстве Керенского у рабочих существовала тенденция избирать небрежно относящихся к делу мастеров. Теперь же, при собственном правительстве, при Совете,

рабочие стали избирать мастеров, проводивших дисциплину и поднимавших производительность предприятия. Когда я первый раз встретился с Краснощековым, председателем дальне-восточного Совета, он был пессимистически настроен.

— На каждое слово, направленное мною против саботажа буржуазии,—заявил он,—я должен сказать десять слов против лени рабочих. Я думаю, однако, что теперь наступит перемена.

Когда я встретился с ним другой раз, в конце июня 1918 г., он был в самом радужном настроении. Перемена наступила. Он сообщил мне, что шесть фабрик производили больше, чем когда-либо раньше.

На так называемых «американских заводах» собирались прибывшие из Соединенных Штатов колеса, вагонные подставки и тормаза, а затем готовые вагоны отсылались по Сибирской железной дороге. Эти заводы были очагом волнений, один бунт следовал за другим. Шесть тысяч рабочих изготовляли за день лишь восемнадцать вагонов. Советская комиссия закрыла предприятие, реорганизовала его и поставила на работу тысячу восемьсот рабочих. В отделении подставок работало теперь вместо тысячи четырехсот человек лишь триста пятьдесят. И все-таки производительность, благодаря введенным рабочими улучшениям, поднялась. Тысяча восемьсот рабочих изготовляли 12 вагонов в день, что составило увеличение производительности в 100% на каждого рабочего.

Однажды я стоял с Сухановым на холме, с которого видны были фабрики. Он прислушивался к шуму кранов, к ударам молотов, доносившимся из долины.

— Это сладкая музыка для вашего слуха,—сказал я.

— Да,—ответил он.—Старые революционеры производили шум посредством бомб, это же—шум, производимый новыми революционерами, выковывающими новый социальный строй.

Самым сильным союзником Советов был профессиональный союз рудокопов. Этот союз организовывал безработных в маленькие Советы с 50—100 членами и посылал их на амурские прииски. Эти предприятия имели большой успех. Каждый из работавших добывал на 50—100 руб. в день. Тогда возник вопрос о заработной плате. Один из рудокопов выставил следующий лозунг: «Каждому полный продукт его труда». Это требование имело колоссальный

успех среди рудокопов, заявивших, что они де всецело присоединяются к этому основному принципу социализма. Ничто, утверждали они, не сможет заставить их отступить от этого принципа.

Но Совет придерживался другой точки зрения. Работа остановилась. Но вместо того, чтобы решить вопрос по традиционному методу посредством бомб и военной силы, рабочие решили его путем обсуждения в Совете. Рудокопы капитулировали перед логикой Совета. Размер их заработной платы был определен в 15 р. в день с добавлением премии за превышающую норму производительность. В течение короткого периода времени в главное помещение Совета было доставлено 26 пуд. золота, и Совет выпустил бумажные деньги, обеспеченные этим фондом. На этих деньгах имелось в качестве герба изображение серпа и молота, рисунок на них изображал крестьянина и рабочего, ударяющих друг друга по рукам, из которых текут богатства Дальнего Востока, разливающиеся по всему миру.

Совету достался в наследство белый слон в виде «военного порта». Это было огромное сооружение, предназначавшееся для военных и морских целей, памятник негодности старого режима. На его платежной ведомости красовались имена чиновников-взяточников и людей со связями, быть может, самых худших из всех тех, которые украшали своей персоной государственные учреждения при царе. На судах Добровольного флота служило множество паразитов. По постановлению Совета все эти паразитические элементы были немедленно уволены, но прежний руководитель был оставлен в качестве технического советника. Рабочие видели необходимость в этих технических экспертах и, не находя их в собственных рядах, были согласны платить этим людям высокие оклады. Рабочий класс решил покупать мозги, как это раньше делали капиталисты.

Специальная комиссия использовала оборудование «военного порта» для выделки мирных инструментов. Была введена система точного расчета. Таким образом вскоре выяснилось, что производство новых плугов и грабель обходится гораздо дороже того, что стоит выписывание из-за границы. Тогда были введены новые машины и исправлены старые машины и суда. Если к концу восьмичасового рабочего дня выяснялось, что договор не может быть выполнен, то мастер делал доклад о состоянии работы и

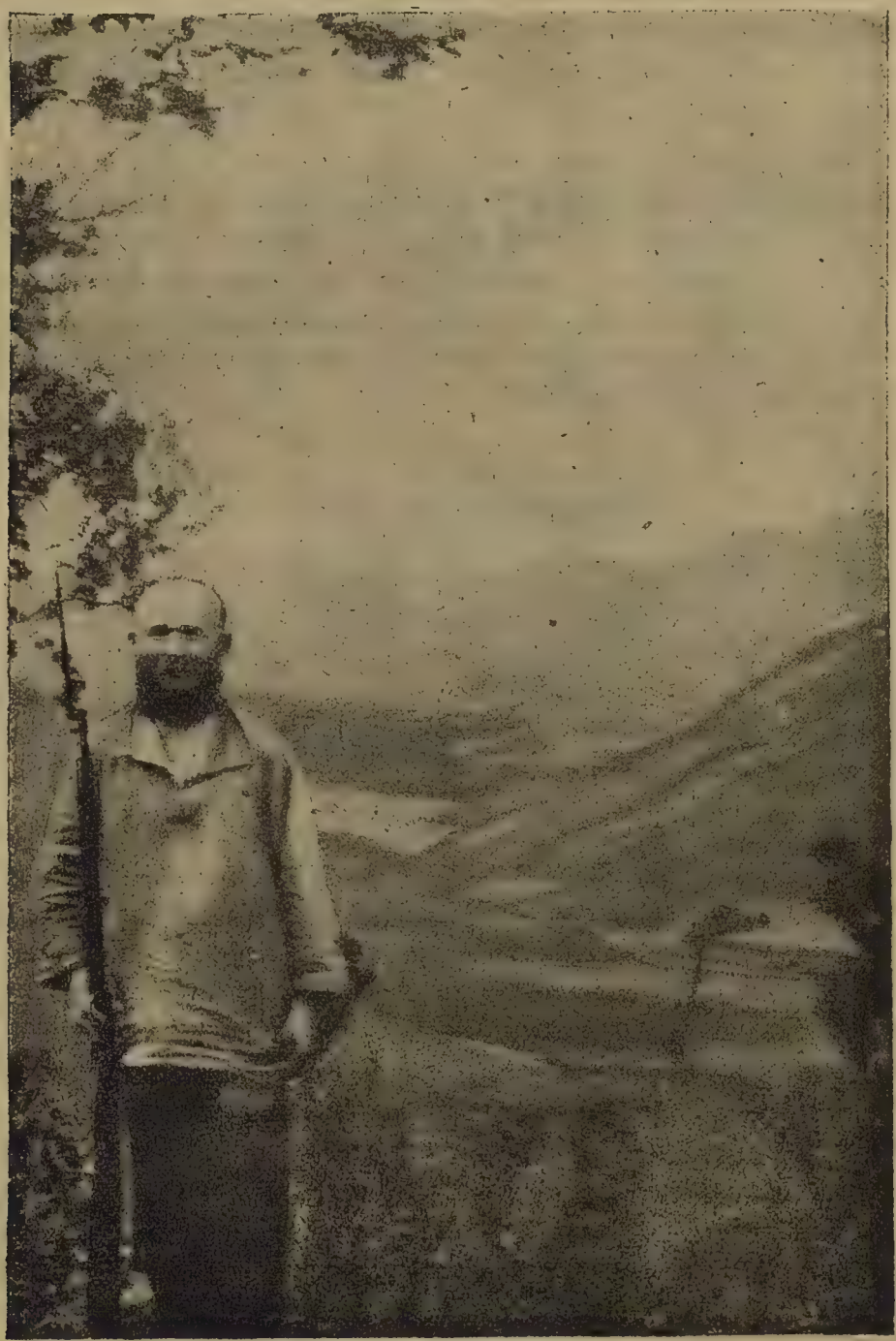
сообщал, сколько еще необходимо часов для того, чтобы ее закончить. Рабочие, сильно гордившиеся скоростью своей работы, часто соглашались оставаться на работе хотя бы всю ночь, если это необходимо. Вместе с тем они голосовали и за повышение оклада, получаемого мастером.

При старом режиме большинство рабочих жили на расстоянии трехчасовой езды от предприятия. Комиссия начала строить вблизи предприятия новые жилища для рабочих. Время и энергия экономились самыми разнообразными способами. Очередь за заработной платой в дни получки была уничтожена, каждые двести человек избирали товарища, получавшего для них заработную плату.

К несчастью, среди этих рабочих, уполномоченных для получения заработной платы, нашелся один, который не смог устоять против искушения. Получив двести конвертов с деньгами, он собрался было распределить их между уполномочившими его рабочими. Но потом он раздумал. Никто не знал как это произошло. Некоторых рабочих смутили предположения, что какой-то буржуазный чорт нашептал слабому товарищу на ухо дурные помыслы и прогнал из его головы всякие мысли об его семье, предприятии и революции. Как бы там ни было, он был несколько позже найден лежащим с пустыми карманами рядом со столь же пустыми бутылками из-под водки. Когда он пробудился от своего счастливого опьянения, его привели в фабком и там к нему пред'явили обвинение в нарушении революционной чести и в предательстве в отношении военного порта.

Заседание революционного трибунала происходило в главном фабричном корпусе. Присяжных было 150 человек. Приговор гласил: «Да, виновен». Присяжным было предложено избрать одно из следующих наказаний: 1) Немедленное увольнение. 2) Увольнение, но с дальнейшей выплатой жалованья жене и детям. 3) Прощение и принятие обратно на службу.

Было принято второе предложение, что означало клеймление проступка и вместе с тем избавление его семьи от нужды. Но это решение не облегчало положения злополучных двухсот рабочих, оставшихся без своей заработной платы, и поэтому остальные 1500 рабочих решили возместить пропавшие деньги из своего собственного заработка.



Один из „ужасных" красногвардейцев (сибирский крестьянин-партизан).

Новые опыты на фабриках вначале приводили к дорого обходившимся ошибкам, но в общем можно было сказать, что Совет хорошо работает. Рабочие смотрели на ошибки Совета снисходительно, вроде того, как человек смотрит на свои собственные ошибки.

По мере роста своего опыта рабочие проникались все большим доверием к самим себе. Они сделали открытие, что они в состоянии организовать промышленость и поднять производительность. И чем дальше деятельность Совета проникала в хозяйственную область, тем больше поднималось их настроение. Они были бы еще более довольны, если бы враги не предпринимали постоянно новых нападений на Советы.

Совет организует армию.

Как только работа на фабриках начинала итти гладко, рабочие оказывались вынужденными бросать инструменты и взять в руки вместо них ружья, железные дороги должны были вместо доставки продовольствия и машин заняться транспортированием войск и военного снаряжения. Рабочие вынуждены были вместо того, чтобы развивать и укреплять новые учреждения, собраться вместе и защищать их.

Нападения на границы Рабочей Республики не прекращались. И каждый раз, когда врагу удавалось прорваться в каком-нибудь пункте, раздавался клич: «Социалистическое отечество в опасности!». Призыв к оружию разносился по всем селам и фабрикам. Каждое предприятие, каждое село образовывало собственный отряд, уходивший по дорогам и железнодорожным рельсам в манджурские горы с пением революционных и народных песен. Скверно снаряженные, ослабевшие от недоедания, они уходили, чтобы стать лицом к лицу с хорошо вооруженным беспощадным врагом. И точно так, как современные американцы с любовью вспоминают об оборванных, босых войсках Вашингтона, оставлявших кровавые следы на снегу, точно так же русские в будущие времена будут с волнением читать рассказы о первых оборванных отрядах красногвардейцев, хватавшихся за оружие каждый раз, когда угрожала опасность, и выступивших в поход на защиту Советской Республики.

На-ряду с этими красногвардейцами уже складывались ячейки нынешней Красной армии. Это было интернациональное войско. Здесь были представлены все народы, включая чехов и корейцев. У лагерного костра корейцы говорили: «Теперь мы сражаемся с вами за вашу свободу; в один прекрасный день вы будете сражаться с нами против Японии за нашу свободу». Между офицерами были чешский капитан Муровский, племянник Ленина Попов, а также Абрамов, прослуживший два года в британской армии.

В отношении дисциплины красные войска уступали регулярным армиям, но зато они были проникнуты воодушевлением, отсутствовавшим у других. Я вел долгие беседы с этими крестьянами и рабочими, лежавшими в течение целых недель на мокрых от дождя холмах.

— Что заставило вас притти сюда и что вас удерживает здесь?—спрашивал я.

— Миллионы нашего темного люда должны были в старые времена умирать за царское правительство,—отвечали они,—и мы были бы трусами, если бы не выступили для защиты нашего собственного правительства.

Некие господа были совершенно другого мнения о Советах. Они хотели, чтобы русские крестьяне и рабочие получили совершенно другое правительство. Они утверждали даже, что именно они являются единственно правомочным российским правительством.

В пышных словах они провозглашали свое право на территорию, простирающуюся от Золотого Рога на Дальнем Востоке до Финского залива на западе, от Белого моря на севере до Черного моря на юге. Эти господа не были, право, скромны, но зато очень осторожны. Они никогда не осмеливались ступить ногой на спорные территории. Ибо, если бы они это сделали, они были бы арестованы фактическим правительством—Советским—в качестве заурядных преступников.

Сидя в безопасности в Манджурии, они выпускали пламенные манифесты, в которых перечислялись все заговоры против Советов. После поражения Каледина, контр-революционеры, подстрекаемые иностранным капиталом, возложили все свои надежды на казаков Семенова. Последний командовал полками, составленными из китайцев-хунхузов, японских наемников и монархистов; все эти элементы были набраны в портах китайского побережья.

Семенов заявил, что он железным кулаком вколотит большевикам в головы понятие о приличии и здравый смысл. Он возвестил, что его победный поход будет направлен через Урал в московские равнины, Петроград раскроет перед ним ворота, и все население выйдет к нему навстречу с приветствиями.

Под аплодисменты буржуазии, он развернул свое знамя, два раза рискнул переправиться через сибирскую границу, но дважды убежал назад. Население, действительно, поднялось для того, чтобы его приветствовать, но не с цветами, а с ружьями, топорами и граблями и руках.

Владивостокские рабочие принимали участие в подготовке поражения Семенова. Спустя пять недель, они возвращались домой загорелые, оборванные, с израненными ногами, но в качестве победителей. Все рабочие вышли им навстречу, чтобы приветствовать своих товарищей-пролетариев, возвращавшихся из похода. Их забрасывали цветами, в их честь произносились речи, и они триумфальным маршем прошли через город. Победа наполнила их сердца сильной радостью, но не сердца буржуазных и союзнических зрителей. Последним стало ясно, что Совет ежедневно укрепляется и в военной области.

Совет просвещает народ.

В культурнической области творческой силе революции удалось основать здесь Народный университет, три рабочих театра и две ежедневные газеты. «Крестьянин и Рабочий» был официальным советским органом. В этой газете имелась и часть, выходившая на английском языке, под редакцией Джерома Лифшица, молодого русского, жившего раньше в Америке. В «Красном Знамени», органе коммунистической партии, помещались длинные академические статьи. Эти газеты выражали мысли безгласных до того времени масс.

Хотя революция была прежде всего борьбою за землю, хлеб и мир, она все-таки задавалась более широкими целями. Я вспоминаю об одном заседании владивостокского Совета, на котором правые яростно напали на Совет за то, что он понизил продовольственные пайки.

«Большевики обещали вам массу различных вещей, но они вам ничего не дали, не правда ли? Они обещали вам хлеб! Где же

он? Где тот хлеб, который...» Дальнейших слов оратора нельзя было расслышать—такая поднялась буря свистков и шиканья.

Не единым хлебом жив человек. Совет также не тем жив, что он лишь утоляет голод желудка; он утоляет также и духовный голод.

Все люди стремятся к товариществу. «Ибо товарищество, это—рай, отсутствие же его—ад»,—так проповедывал Джон Баль в XIV веке английским крестьянам. Совет походил на большую семью, в которой самый незначительный член ее сознает свое человеческое достоинство.

Все люди стремятся к могуществу. В Совете рабочие чувствовали с радостью, что они являются вершителями своей собственной судьбы, распорядителями обширной области. Рабочий похож на другие человеческие существа. Отведав вкус власти, он не хотел более расставаться с нею.

Всех людей тянет к приключениям. В Совете люди отважились на приключение самого рискованного характера—на поиски нового, основанного на справедливости, общества, на строительство нового мира.

В душах всех людей дремлет духовная страсть. Ее лишь следует пробудить. Революция встряхнула даже тупого, апатичного крестьянина. Она влила в него желание научиться читать и писать. В один прекрасный день в детской школе появился старик-крестьянин.

— Дети,—сказал он, поднявши кверху свои заскорузлые, обезображенные тяжелой работой руки,—эти руки не умеют писать, потому что царь требовал от них лишь работы за плугом...—Слезы катились по его лицу, и он продолжал: Но вы, дети новой России, вы сможете научиться писать... О, если бы я еще раз мог начать свою жизнь, как дитя, в нашей новой России.

Рабочие в качестве дипломатов.

Рабочие овладели государственным судом. Ныне они должны провести его через канал-лабиринт по неизвестным для них водам в то время, как Антанта постоянно пытается разбить его о скалы.

Оттолкнутый консулами союзников, Совет обратился с дружественными заявлениями к Китаю. Китайцы привыкли к такому жестокому обращению со стороны царя, что они никак не могли

понять, как это могло случиться, что какое-либо русское правительство обращается с ними любезно. Они подумали, что здесь скрыта какая-либо новая ловушка. Но Совет подкрепил свои слова соответствующими действиями. Китайские граждане были уравнены в правах с другими иностранцами, китайским баркам было разрешено судоходство по рекам. Китайцы начали сознавать, что русское правительство рассматривает их теперь уже не как низшую расу, годную лишь на то, чтобы подвергаться ругани и эксплоатации, но как человеческие существа. Они послали эмиссаров в Красную армию, которые заявили:

— Мы вполне сознаем, что не имеем права разрешать семеновским головорезам и авантюристам мобилизовываться на нашей территории. Мы знаем, что союзники не имеют права заставлять нас проводить по отношению к вам блокаду. Мы хотим, чтобы наши продукты доходили до русских крестьян и рабочих.

В июне состоялась конференция на границе, в Гродеково. Китайцев приветствовал на их языке Тунганоги, в высшей степени одаренный молодой человек, имевший от роду 21 год. В этом юноше как бы воплотился дух молодой революционной России. Делегаты этих двух рас, населяющих треть земного шара, совещались о том, как они могут жить в мире и сотрудничестве.

Это не напоминало Версальской конференции, где в золоченных креслах заседали старцы, хитрые, подозрительные, дуэлировавшие словами и фразами. Здесь собрались молодые, откровенные, умные люди, которые совещались под открытым небом, как братья. Но в этом под'еме чувств не было утрачено сознание действительности. Они не старались обойти неприятные вопросы: об опасности для России со стороны слишком многочисленной китайской иммиграции, о низкой заработной плате кули и т. д. Краснощеков, председатель русской делегации, сказал:

— Китайские и русские массы—истинные дети природы, не испорченные пороками западной цивилизации, неопытные в дипломатической лжи и интригах.

В тот же самый день, когда делегаты этих «детских» наций старались притти к взаимному соглашению, за их спиною иностранные дипломаты в Харбине и Владивостоке замышляли натравить оба эти народа друг на друга. Они хотели использовать китайские войска для вторжения в Сибирь и уничтожения Советов.

Часть IV

ТОРЖЕСТВО РЕВОЛЮЦИИ

Советы против капиталистического мира

ГЛАВА XVII.

СОЮЗНИКИ УНИЧТОЖАЮТ СОВЕТ.

— Почему союзники относятся так враждебно к Советам? Почему бы не смотреть на Россию, как на колоссальную лабораторию, в которой производится опыт?—спрашивал некто американского банкира.—Почему бы не позволить этим мечтателям испробовать их социалистические планы? Если их мечты превратятся в кошмар, если утопия потерпит крах, то тогда вы всегда сможете указывать на этот факт, как на пример страшной неудачи социализма.

— Все это очень хорошо,—ответил тот,—но если предположить, что этот опыт не окажется банкротством? При чем мы тогда останемся?

Союзники чуть не молились о том, чтобы опыт потерпел крах, они с жадностью выжидали падения Советов. Но, катастрофа все не приходила, и это доводило союзников до неистовства. Наоборот, работа Совета шла успешно. Он создавал не беспорядок, а порядок, не хаос, а организованность. Совет укреплял свое могущество в экономической и военной области и делал дальнейшие успехи также и в культурной и экономической областях. Везде он укреплял завоеванные им позиции.

Совет стоял поперек дороги империалистам. Если его могущество будет продолжать расти и дальше, то их планы будут совершенно расстроены. Они не могли бы тогда надеяться свободно эксплоатировать огромные богатства России.

Поэтому было решено уничтожить Совет. И это необходимо сделать немедленно, раньше, чем он станет слишком жизнеспособным и могущественным.

Контр-революция использовывает чехов.

В качестве орудия, которым должен был быть нанесен смертельный удар, были избраны чехо-словаки. Французские офицеры подготовляют их для выполнения этой задачи, при чем чехо-словаки не имеют об этом никакого представления. Полки этих опытных войск выстраиваются, согласно стратегическим надобностям, вдоль сибирской железной дороги. Во Владивостоке их было 17.000. Их транспортировали сюда по разрешению Совета и здесь их вооружили и кормили.

Французы заявили, что за чехо-словаками прибудут транспортные суда для отправки их на западный фронт. Каждую неделю им сообщали, что суда находятся уже в дороге. Но ни одно судно не заходило в порт. Французы никогда не думали о том, чтобы действительно посадить чехов на суда. Они все время носились с мыслью использовать их здесь в Сибири для уничтожения Советов.

Чехи были недовольны и тяготились своею бездеятельностью. Они питали глубоко в них вкоренившуюся наследственную ненависть к австрийским немцам. Французы наговорили им, будто в Красной армии имеются десятки тысяч австрийских немцев. Искусно использовывая патриотические чувства чехов, французы изображали Советы как друзей австрийских немцев и врагов чехов. Такими способами они постоянно создавали поводы для трения и вызвали в чехах настроение, благоприятствующее для нападения на Советы. Метод нападения был найден соответствующий местным условиям.

Здесь, во Владивостоке, нападение должно было быть произведено неожиданно. Совет должен был быть убаюкан мирными уверениями, а затем подвегнуться неожиданному нападению. Поэтому дело прежде всего шло о том, чтобы обмануть Совет из'явлениями дружбы. Эта задача была возложена на англичан. Они как будто внезапно отказались от всякой враждебности в отношении большевиков и проявляли дружеские чувства.

Британский консул с производившей прекрасное впечатление откровенностью сознался в своей прежней вражде к Советам и в поддержке, которую он оказывал Семенову. Теперь же, ввиду того, что Совет показал свою жизнеспособность, англичане скло-

няются к тому, чтобы оказать ему поддержку. Прежде всего они хотят оказать помощь в деле ввоза машин. 28 июня 1918 года в Совет явились два саперных офицера, которые, выразивши Суханову свое уважение, принесли известие о том, что беспроволочные сообщения, получаемые ежедневно на английском судне «Суффольк», будут ежедневно передаваться Совету для опубликования в газетах.

Редакторы газет, и прежде всего Джером, ликовали. Они явились на Русский остров и пригласили меня присоединиться к ним и отпраздновать капитуляцию союзников. И у них действительно были все основания к тому, чтобы радоваться. До сих пор было трудное восхождение в гору, сквозь ночную темень и через болота, теперь облака вдруг начали рассеиваться и засияло голубое небо.

Но на следующее утро в 8 ч. 30 м. утра ясное небо прорезывается молнией, которая попадает в Суханова, находящегося в помещении Совета. Эта молния—ультиматум чехов, требующих от Совета немедленной сдачи. Все красные солдаты должны, согласно этому ультиматуму, явиться на Университетскую площадь и сдать там свое оружие. Для этого им предоставляется тридцать минут времени. Суханов спешит в чешский штаб и просит разрешения созвать Совет.

— Пожалуйста, если вы это сможете выполнить в течение одного часа, — отвечает хладнокровно командующий чешскими войсками.

Когда Суханов собирается уходить, его арестовывают.

Все это происходит за кулисами. В городе об этом ничего не знают. Только два комиссара предчувствуют приближающуюся трагедию. На Светлянской, вблизи здания Красного флота, я наталкиваюсь на Преминского, которому чистят сапоги.

— Вы уже с утра заботитесь о своей внешности,—говорю я.

— Да,—отвечает он беспечно,—через несколько минут я буду болтаться на фонарном столбе и хочу выглядеть красивым трупом.

Я гляжу на него пораженный.

— Наше время прошло,—заявляет он все еще равнодушным тоном с улыбкой на устах.—Чехи овладевают городом.

Не успел он еще окончить фразы, как улица заполнилась войсками. Они занимают также и ближайшие переулки. Везде вид-

неются солдаты; они переправляются на лодках через бухту, прибывают в паровых баркасах с военных судов. С холмов и с пристани надвигается на город подобно густой туче интервенционистское войско. Свободные площади кишат тяжело вооруженными солдатами. Здесь имеется достаточно взрывчатых веществ, чтобы превратить весь город в кучу пепла.

Оккупация происходит планомерно, как по часам.

Японцы овладевают пороховыми магазинами, англичане—вокзалом. Американцы окружают охраной консульство. Китайцы и другие занимают менее важные места. Чехи устремляются к зданию Совета и окружают его. С громким «ура!»—они атакуют его, взламывают двери и вторгаются внутрь. Красное знамя социалистической республики снимается, и вывешивается трехцветное знамя самодержавия. Владивосток находится в руках империалистов.

— Совет свергнут,—хриплым криком с быстротою степного пожара проносится по городу. Посетители кафе «Олимпия» выбегают на улицу, бросают в воздух шляпы и радостно приветствуют чехов. Для них Совет и его дела, порождение дьявола. Теперь он свергнут, но этого одного мало. Они хотят уничтожить все его следы.

Перед ними цветник; цветы, вперемежку с выложенными камнями образуют слова: «Совет Рабочих Депутатов». Эти люди бросаются через железную ограду, топчут ногами цветы и, забираясь руками глубоко в землю, вырывают ненавистный символ с его последним корнем.

Теперь кровь их уже кипит, аппетиты возбуждены, они хотят утолить свой гнев на чем-нибудь одушевленном.

Буржуа требуют репрессий.

Заметив меня в толпе, они испускают дикие крики: «Иммигрант! Американская сволочь!». Свора спекулянтов набрасывается на меня, ругает и угрожает кулаками.

Но кольцо людей, окружающее меня, не обнаруживает вовсе намерения учинить надо мною насилие. Я не понимаю, чем это об'яснить. Оказывается, это сторонники Совета. Когда они заметили, что я нахожусь в опасности, они пробрались ко мне и образовали цепь для охраны меня от этих людей, собиравшихся меня линчевать.

Голос нашептывает мне: «Уходите к зданию Красного флота! Идите медленно, не бегите». Не обращая внимания на толчки со всех сторон, я устремляюсь к указанному зданию. Когда я приблизился к нему, я услыхал: «бегом!». Я пробегаю через дверь и исчезаю в лабиринтах здания, оставивши своих преследователей у дверей, где они вступили в горячий спор с чехами.

На третьем этаже я забежал в комнату, из окон которой открывается вид на город. Отсюда я могу наблюдать за всем происходящим, не будучи сам замечен. Подо мною простирается Светлянская, кипящая подобно котлу. Эта улица, мирно дремавшая еще двадцать минут тому назад под лучами солнца, теперь представляет собой дикий хаос людей, красок и звуков. Японцы в синих куртках и белых гамашах, английские матросы с британским флагом, одетые в хаки чехи появляются, и проходят, образуя течение в человеческом водовороте, увеличивающемся с каждым мгновением.

Радостная весть «Совет свергнут» со сказочною быстротою доходит до буржуазного квартала. Из будуаров и кафе, из гостиных и спален появляются улыбающиеся дамы, разряженные в шелка. Светлянская превращается в большой бульвар, сплошь залитый перьями, пестрыми платьями и зонтиками.

Некоторые туалеты великолепны. Счастливые дамы, предупрежденные во-время, имели достаточно времени для того, чтобы приодеться. Офицеры также красуются во всем своем блеске— золотые галуны, эполеты, звенящие шпоры...—на каждом шагу отдают честь. Офицеры сопровождают дам или ходят отдельными группами. Их здесь целые сотни, так что является вопрос, где они до сих пор скрывались во Владивостоке?

А эти бесчисленные буржуа! Выхоленные, откормленные господа, с круглыми животиками, делающие их похожими на карикатуры на них самих. С сияющими лицами они приветствуют друг друга, пожимают друг другу руки, обнимаются и восклицают: «Совет пал!», как, если бы это было пасхальное приветствие. Два крупных толстых чиновника, которым возбуждение угрожает апоплексическим ударом, пытаются упасть друг другу в об'ятия, но животы им мешают выполнить свое желание.

Этот пролетарский город изменился с невероятной быстротой. Он внезапно стал городом упитанных, выхоленных людей, по-

здравляющих друг друга с сияющими от радости лицами, возносящих хвалу богу и союзникам, и приветствующих чехов.

Бедные чехи! Эти приветствия смущают и огорчают их. При встрече с русским рабочим они опускают голову. Некоторые категорически отказываются принимать участие в удушении рабочего правительства. Никого из них не радует распятие рабочих, являющееся радостным зрелищем для буржуазии. А буржуазия, кроме того, не удовлетворяется празднеством с флагами и музыкой, она требует римского празднества с кровью и жертвами. Она хочет отомстить этим рабочим, забывшим о своем низком положении.

— Теперь мы их поставим на их место,—заявляет буржуазия.—Они будут висеть на фонарных столбах. Они любят красный цвет, не так ли? Ну-с, теперь мы готовы дать им эту краску в каком угодно количестве. Мы эту краску возьмем из их вен.

Они подстрекают чехов к насилиям, и сами хотят принять в этом участие. Они указывают на известных рабочих, доносят на них; они знают, где можно найти комиссаров и сами показывают дорогу к учреждениям и фабрикам.

Темные личности с крысиными физиономиями—шпионы, провокаторы и погромщики старого режима—также ревностно занялись делом. Они вылезают из своих нор, чувствуют себя опять как дома и пытаются посредством эксцессов против большевиков опять втереться в милость буржуазии. Подобно хорькам они всюду проникают, проникают они и в то здание, в котором я нахожусь.

Внезапно раздаются на лестнице верхнего этажа крики, проклятия, топот множества ног. Четыре человека проникли в помещение партийного комитета, находившееся наверху, и схватили Зою. Она дает им отчаянный отпор. Они скручивают ей назад руки, бьют, толкают и тащат по улице в тюрьму. Подобные сцены происходят во всем городе. Комиссары и рабочие выполняют свою работу в учреждениях и на фабриках. Двери взламываются, красных арестовывают и тащат на улицу.

Посреди улицы оставлен узкий проход, через который прогоняют пленных со связанными руками. Толпа издевается над ними и осыпает насмешками и руганью. Подносят кулаки к лицу, а некоторых толпа избивает или плюет им в лицо.

С особенно яростным завыванием встречается появление комиссара банков. Он ведь затронул самое чувствительное место этих людей—карманный нерв. Они воют и завывают, хотели бы его разорвать в куски. Одетый в белую фланель, краснорожий, рычащий господин прорывается через кордон из чехов, схватывает комиссара за руку и тащится рядом с ним, завывая точно индеец.

Одного за другим проводят комиссаров через этот коридор искаженных ненавистью, свирепых, издевающихся физиономий. В противоположность им, лица комиссаров удивительно спокойны. Некоторые бледны, но все производят впечатление мужественности. Они с живостью оглядываются вокруг себя и, очевидно, всем интересуются. Эти люди выпили чашу жизни до дна. Они прошли всю ее гамму—от тюремной камеры до высших государственных постов. Они пережили столько приключений. Какой сюрприз ждет их теперь на повороте улицы? Быть может, самый потрясающий из всех, последний. Что же, пусть придет смерть. Она их не страшит. Уже давно, с тех пор как они всецело отдались революции, это был для них решенный вопрос. Они отдали все, что имели, включая жизнь, в руки революции.

Они были солдатами революции; когда она их призывала, они явились. Они шли туда, куда она их посылала. Все, что она требовала, они выполняли послушно, не задавая вопросов. При царе революция нуждалась в них, как в агитаторах, при Советах, как в комиссарах. Следуя призыву революции, они отказались от всего—от удобств, отдыха, здоровья, и в этом самопожертвовании обрели свое счастье. Теперь они должны отдать также свои жизни; и разве они не найдут в этой наивысшей жертве наивысшей радости?

Все это можно было ясно прочитать на лице Мельникова. Сквозь эту шикающую, завывающую, рычащую тучу врагов он прошел улыбаясь, подобный солнечному лучу.

Это было «триумфальное шествие», в котором Мельников шел с видом победителя. Улыбка сияла на его лице, его сверкающие глаза блестели ярче, чем когда-либо, черты его лица были овеяны мягким светом. Хриплый голос заорал: Мошенник! Повесить его!». Мельников улыбался. Тяжелый кулак опустился на его лицо. Мельников опять улыбнулся. Это была улыбка человека, вы-

соко возвысившегося над низменными страстями толпы, человека, недосягаемого для ее ударов и ругательств. Это была улыбка сострадания к этим ненавидящим его. Чувствовал ли Мельников силу своей улыбки? Зна ли он, как он безмолвно завоевал в тот день множество сердец? Это был магнит, привлекший в лагерь революции колеблющихся и нерешительных. И это был вместе с тем меч, несший гибель в лагерь контр-революционеров.

Буржуазия не могла вынести улыбку Мельникова и смех Суханова. Ее это раздражало и не давало ей покоя. Она охотно убила бы этих молодых людей на улице. Но она не осмелилась сделать это—не осмелилась покуда. Комиссары не были умерщвлены, они были брошены в тюрьму.

Совет уничтожен.

В данный момент союзники еще против массового избиения рабочих. Для них очень важно изобразить интервенцию в качестве крестового похода за демократию, крестового похода, радостно приветствуемого всем населением. Интервенция еще не обнаружилась, как сильная царистская реакция. Владивосток, по мысли союзников, должен был лишь послужить базою для похода на Сибирь. Они не хотели, чтобы база стала слишком скользкой от пролитой крови. Там, в глубине Сибири, кровь рабочих и крестьян может литься рекой, но не здесь, в этом портовом городе, на который обращены взоры всего мира. Нескольких красноармейцев и рабочих расстреливают, но дело не доходит до общей кровавой бани. Внезапность нападения, подавляющий численный перевес вооруженных сил задушили Совет.

Советским силам удалось собраться лишь в одном пункте: на пристани, сборном пункте рыбаков, упаковщиков и докеров. Почти все они были крестьянского происхождения—огромные, растрепанные парни со стальными мускулами. Они ничего не понимали в сложных государственных и политических проблемах. Один простой факт они, однако, понимали: они, бывшие раньше рабами, теперь свободны. Они стали из животных людьми. И они знали, что обязаны этим Совету.

Теперь они видят, что Совет находится в опасности. Они поспешили в находящееся вблизи здание генерального штаба, заперли на замок и на засов двери, забаррикадировали окна, и с ружьями в руках отправились на свои посты, выжидая нападе-

ния. Они удержат это здание для Совета, чего бы это ни стоило.

Они имеют один шанс из ста—двести транспортных рабочих против двадцати тысяч испытанных в боях солдат. С револьверами против пулеметов, с ружьями против пушек. Но на стороне этих людей революционное пламя. Оно воспламенило дух этих обычно неповоротливых и флегматичных грузчиков. Они стали бесстрашными и проворными, смелыми и расторопными. В течение дня круг огня и стали вокруг них смыкается все теснее и уже. Они наблюдают за этим явлением без страха и отклоняют требование о сдаче. И с наступлением ночи их ружья все еще продолжают стрелять из окон.

Один из чехов подкрадывается под покровом темноты, бросает через окно бомбу, и здание загорается. Крепости докеров угрожает превращение в костер. Окруженные огнем и дымом они бросаются с поднятыми вверх руками на улицу. Некоторых убивают на месте, других избивают нагайками до потери сознания, остальных уводят в тюрьму.

Сопротивление сломано, Совет уничтожен. Союзники поздравляют друг друга с успехом. Буржуазия упивается своим торжеством. Окна больших домов и ресторанов залиты светом. Из кафе несется пение и музыка. Кутящая публика смеется, танцует, радостно приветствует союзнических офицеров. С церковных колоколен раздается протяжный колокольный звон. В церквах священники служат молебны за царя. С палуб военных судов раздаются по всей бухте звуки труб. Весь город празднует и веселится.

Не то в рабочих кварталах. Здесь господствует глубокая тишина, прерываемая лишь плачем женщин. За спущенными занавесками убирают мертвых. Из находящегося вблизи сарая доносится стук молотков. Мужчины сколачивают из необделанных досок гробы для мертвых товарищей.

ГЛАВА XVIII.

КРАСНЫЕ ПОХОРОНЫ.

Было 4-е июля. Я стоял на Китайской улице и смотрел на праздничные флаги «Бруклина», американского военного судна, стоявшего на якоре во владивостокском порту. Внезапно я услышал доносившиеся издали звуки. Прислушавшись, я стал различать слова революционного похоронного марша:

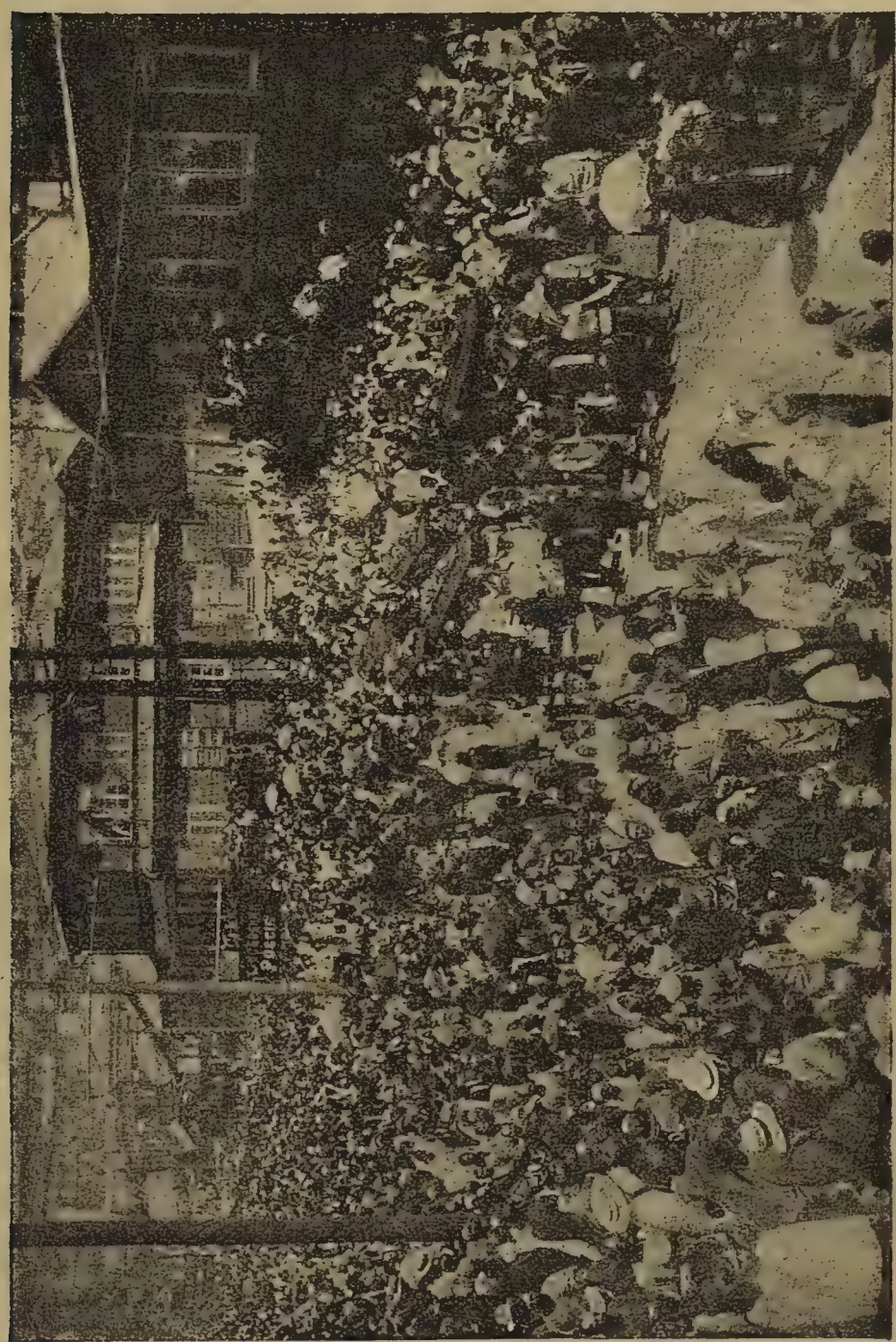
«Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу...».

Взглянувши вверх, я увидел на вершине холма первые ряды какой-то большой процессии. Это были похороны грузчиков, убитых четыре дня тому назад при осаде здания красного штаба.

Ныне народ оправился от своего состояния скорби и страха, и вышел хоронить защитников свергнутого Совета. Люди сбежались из рабочих кварталов и залили улицу с одного конца до другого. Тысячами они спускались с холма, весь длинный откос был усеян этой медленно двигавшеюся толпою, которая шагала в такт под звуки похоронного марша.

Между серо-черной толпою мужчин и женщин просвечивались два ряда, одетых в белые рубашки матросов большевистского флота. Над их головами развевалось множество малинового цвета знамен с серебряными шнурами и кистями. Впереди шли четверо мужчин, несших огромное красное знамя с надписью: «*Да здравствует Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов! Да здравствует международное братство рабочих!*».

Сто девушек в белых платьях, несших зеленые венки от сорока четырех профессиональных союзов города образовали почет-



Красные похороны протест безоружных масс против интервенции.

ный караул вокруг гробов убитых грузчиков. Гробы, выкрашенные красною, еще непросохшею краскою, качались на плечах мужчин. Музыка окрестра Красного флота заглушалась пением семнадцати тысяч принимавших участие в шествии.

Здесь были краски, звуки и движение. Но здесь было также и нечто другое, что вызывало страх и уважение. Я видел в Петрограде и Москве множество подобных процессий, мирные демонстрации, демонстрации протеста, в честь победы и похоронные процессии, военные и гражданские. Все они производили очень сильное впечатление, которое умеют устраивать одни только русские.

Эта процессия была, однако, в совершенно другом роде.

Эти беспомощные рабочие, у которых было отнято всякое оружие и которые несли своих покойников с пением печальных песен, представляли собою гораздо более опасную угрозу, чем двенадцатикалибровые пушки союзнического флота, стоявшего в порту на якоре. Это должны были все почувствовать. Вся эта демонстрация была настолько проста, столь стихийна и элементарна, она вытекла непосредственно из сердца народа. Это был сам народ, оставшийся в одиночестве, без вождей, пришибленный, предоставленный самому себе, народ поднявшийся из своей скорби, чтобы с новой могучей силой взять себя снова в руки.

Уничтожение Советов не повергло этих людей в бездеятельную скорбь и не рассеяло его сил,—наоборот, оно пробудило в них особый об'единяющий дух. Семнадцать тысяч душ слилось здесь воедино. Семнадцать тысяч человек, певших в один голос, мысливших как один человек. Из общей массовой воли и массового сознания они выработали свое классовое решение, непоколебимое решение революционного пролетариата.

Чехи предложили себя в качестве почетного караула на похоронах.—Не нужно,—получили они ответ.—Вы убили наших товарищей, вы сражались с ними—сорок против одного. Они пали за Совет, и мы гордимся ими. Мы благодарим вас, но мы не можем позволить, чтобы те ружья, которые их застрелили, охраняли их после смерти.

— Но ведь вам в этом городе угрожает опасность,—говорили власти.

— Все равно. Мы также не боимся смерти. И какая смерть может быть лучше, чем смерть возле трупов наших товарищей?

Некоторые буржуазные организации хотели прислать венки.

— Не нужно этого,—ответил народ.—Наши товарищи пали в борьбе против буржуазии. Они пали в честном бою. Мы должны сохранить их память незапятнанной. Мы благодарим вас, но мы не можем себе позволить возложить ваши венки на их гробы.

Процессия спускалась с Алеутского холма, заполняла площади внизу и направлялась далее к английскому консульству. Вблизи стоял служебный вагон с башенкой для исправления электрических проводов. Этот вагон был использован в качестве трибуны.

Оркестр заиграл похоронный марш. Мужчины обнажили головы, женщины склонились. Музыка замолкла, воцарилась глубокая тишина. Тогда оркестр опять начал играть, и все снова наклонили головы. Опять наступила тишина. Ораторов не было. Русское богослужение обходится без проповеди, и здесь также не было необходимости в речах. Если же кто-либо почувствовал бы желание сказать несколько слов, то трибуна была наготове. Казалось, что из молчания народа должно было родиться слово.

Наконец, один человек вышел из толпы и взобрался на вагон. Он не обладал даром слова, но постоянно повторявшийся лейт-мотив в его речи: «Они умерли за нас, они умерли за нас»—ободрил других, и появилось еще несколько ораторов.

Первым выступил крестьянин, загорелый, бородатый человек в деревенской одежде. Он сказал: «Я прожил всю свою жизнь в непрестанном труде и страхе... В мрачные дни царизма были бесконечные страдания, пытки и смерть. Затем поднялась внезапно заря революции, и всякий страх исчез. Рабочие и крестьяне были счастливы, и я также был счастлив. Но внезапно настоящий удар прервал нашу радость. Опять вокруг нас ночь. Мы не можем поверить этому, но все же перед нашими глазами лежат трупы наших братьев и товарищей, боровшихся за Совет. А на севере в это время убивают других товарищей. Мы прислушиваемся, напрягаем наш слух, чтобы услышать, идут ли к нам на помощь крестьяне и рабочие других стран. Но напрасно. Мы слышим лишь рев пушек на севере».

Он умолк. На фоне синего неба показалась фигура в белом. На платформу взобралась женщина. По требованию толпы она начала говорить.

«В прошлом мы, женщины, смотрели на то, как гонят наших мужей, братьев и сыновей на войну в то время, как мы плакали дома. Власть имущие говорили, что это справедливо и что это делается для нашей славы. Войны происходили вдалеке от нас, и мы ничего в этом не понимали. Но здесь наши мужья были убиты перед нашими глазами, и на этот раз мы поняли. И мы понимаем также, что нет в этом ни справедливости, ни славы. Нет, это была жестокая бессердечная несправедливость и каждое рожденное работницей дитя должно будет услышать историю этого преступления».

Самую длинную речь произнес семнадцатилетний юноша, секретарь социалистической организации молодежи. «Мы были студентами, художниками и т. п., — говорил он, — мы стояли в стороне от Совета. Нам казалось бессмысленным желание рабочих управлять без помощи мудрых и образованных. Теперь, однако, мы знаем, что вы были правы, а мы неправы. С нынешнего дня мы будем вместе с вами. Мы будем делать то же самое, что и вы. Мы посвятим наши языки и перья задаче провозглашения той несправедливости, которую вы потерпели в России и во всем мире».

Неожиданно проносится известие, что Константин Суханов выпущен под честным словом до 5 час. вечера и что он появится, чтобы призвать рабочих к спокойствию и умеренности.

И пока еще шли споры о верности этого сообщения, он появился сам. Матросы передали его с плеча на плечо до самой платформы, служившей трибуною. Встреченный бурею приветствий, он взобрался на платформу и стал на ней с улыбкой на устах.

Дважды он обежал взглядом море поднятых, сиявших любовью и доверием лиц, ожидавших слов своего молодого вождя.

Он отвернул голову, как если бы хотел избежать того потока скорби и потрясения, который устремлялся на него со всех сторон. И теперь его взгляд впервые упал на красные гробы павших при защите Совета. Это было уже слишком много. Дрожь пробежала по его телу, он вскинул руки вверх, зашатался и упал бы с платформы, если бы его не поддержал один из друзей. За-

крывши лицо руками, Суханов рыдал как дитя в об'ятиях товарищей. Нам было видно, как тяжело он дышал и как текли слезы по его глазам. Русские редко плачут. Но в тот день на этой владивостокской площади рыдали семнадцать тысяч русских вместе со своим молодым вождем.

Клятва мертвым.

Суханов знал, что слишком много слез обнаруживают слабость и что ему предстоит выполнить тяжелую и очень сложную задачу. На расстоянии пятидесяти футов находилось английское консульство и в 250 метрах за ним находились воды Золотого Рога с приготовленными пушками союзнических военных судов. Он преодолел свою скорбь, взял себя в руки и начал свою речь. Он говорил со все возрастающей страстью и закончил словами, ставшими боевым кличем рабочих Владивостока и Дальнего Востока:

«Здесь перед зданием красного генерального штаба, где были убиты наши товарищи, мы клянемся этими красными гробами, в которых они покоятся, женами и детьми, плачущими над ними, красными знаменами, развевающимися над ними, что Совет, за который они умерли, будет для нас тем, во имя чего мы будем жить, и если понадобится, умрем. С нынешнего дня целью всех наших стремлений, во имя которой мы пожертвуем всем, должно стать восстановление Совета. Для достижения этой цели мы будем сражаться всеми средствами. Штыки вырваны из наших рук, но когда придет настоящий день и у нас не будет ружей, мы будем сражаться дубинами и палками, а если у нас и их не будет, то мы будем сражаться кулаками, нашими телами. Но сегодня мы можем сражаться лишь посредством нашего духа и разума. Сделаем же их сильными, твердыми и непоколебимыми. «Да здравствует Совет!».

Толпа подхватила заключительные слова. Звуки Интернационала смешались с бурными восклицаниями. И затем опять раздались звуки революционного похоронного марша, одновременно печальные и торжествующие.

Затем была прочитана резолюция, провозглашавшая восстановление Совета целью всей дальнейшей борьбы революционного пролетариата и революционного крестьянства Дальнего Востока. При голосовании резолюции за нее поднялось семнадцать тысяч

рук. Это были те руки, которые строили вагоны, мостили улицы, ковали железо, направляли плуг и работали молотом. Это были всякого вида руки—большие, грубые руки портовых грузчиков, проворные искусные руки ремесленников, узловатые и мозолистые руки крестьян и тысячи худых, более слабых рук работниц. Эти руки создали богатства Дальнего Востока. Они были похожи на изрезанные, мозолистые руки рабочих всего мира. Они отличались только тем, что некоторое время держали власть. Четыре дня тому назад она была вырвана из этих рук, но они еще чувствовали в себе—эти руки, которые поднялись для принесения торжественной клятвы, силу захватить снова власть.

«Американцы понимают».

Матрос, спустившись по откосу, пробрался сквозь толпу и взобрался на трибуну.

— Товарищи, — воскликнул он радостно, — мы не одни. Посмотрите там внизу на флаги, развевающиеся над американским военным судном. С ваших мест вы их не можете видеть, но флаги развеваются. Нет, товарищи, мы не одни в нашем горе. Американцы понимают положение, и они на нашей стороне!

Это была, конечно, ошибка: флаги были вывешены по случаю 4-го июля, дня об'явления независимости Соединенных Штатов. Но толпа этого не знала. На нее это произвело такое впечатление, какое производит на путешественника в чужой стране пожатие дружеской руки.

Восклицание матроса «американцы стоят на нашей стороне» было подхвачено с воодушевлением. И все это огромное сборище рабочих, подняв гробы и знамена, двинулось в путь. Они направились к кладбищу, но не прямо к нему. Несмотря на то, что они сильно устали от долгого стояния на солнце, они сделали большой крюк, чтобы добраться до улицы, идущей крутым под'емом к американскому консульству. Они взобрались на холм, в облаках пыли, с пением марсельезы. Здесь они остановились у американского консульства и поставили гробы своих покойников под американским флагом.

Они протягивали руки, крича: «скажите нам что-нибудь!». Они послали делегатов внутрь здания с просьбою, чтобы кто-нибудь из консульства обратился к ним с краткой речью. В день,

когда великая республика Запада праздновала свою независимость, пришли бедняки и обездоленные России к ней и просили о понимании и сочувствии к своей борьбе за освобождение.

Впоследствии я слышал, как один из большевистских вождей в гневных выражениях говорил об этом «компромиссе в отношении чести и чистоты революции».

— Как глупо было это со стороны этих людей,—говорил он,—ведь это было лишено всякого смысла. Не говорили ли мы им не раз, что все страны одинаковы, что они все империалистические? Не повторяли ли им разве это их вожди бесчисленное множество раз?

Да, это, конечно, так. Но вожди в демонстрации 4-го июля участия не принимали, ибо они сидели в тюрьме. В данном случае народ действовал совершенно самостоятельно. И хотя вожди в высшей степени скептически относились к уверениям Америки, народ смотрел на это иначе. В час беды эти простые доверчивые люди, эти творцы новой социальной демократии Востока протянули руки за помощью к старой политической демократии Запада.

Они знали ведь, что президент Вильсон обещал «народу России помощь и дружественное отношение». И из этого делали следующий вывод: «Мы, рабочие и крестьяне, огромное большинство населения Владивостока, действительно ведь представляем народ. Ныне, находясь в нужде, мы приходим требовать обещанной помощи. Враги отняли у нас наш Совет и убили наших товарищей. Мы всеми оставлены в горькой нужде, из всех наций мира лишь вы в состоянии понять нас». Они не сумели бы привести лучшего доказательства своей веры в участие и помощь Америки, как то, что они принесли своих покойников к Америке, к своему единственному другу, единственному убежищу.

Но Америка не поняла. Американский народ не услыхал ни слова об этом событии. Но русский народ не знает, что американский народ ничего не слыхал обо всем этом. Русские знают лишь то, что спустя несколько недель после этого события состоялась высадка американских войск и что они, соединившись с японскими войсками, вторглись в Сибирь, где расстреливали крестьян и рабочих.

Теперь русские говорят друг другу: «Как глупо было, однако, стоять там на солнечном припеке и в пыли, протягивая, подобно нищим, руки!».

ГЛАВА XIX.

ОТ'ЕЗД.

«Большевики будут разбиты как яичная скорлупа», говорили мудрецы, когда союзники вторглись в Сибирь. Мысль о том, что Советы могут оказать им серьезное сопротивление, казалась им смешной. Правительство царя, а также правительство Керенского рухнули подобно карточным домикам,—почему же советскому правительству не потерпеть подобной же участи?

Американский майор Тэйчер об'яснил это «почему же» следующим образом: власть царя покоилась на армии, поэтому было достаточно разложить эту армию, чтобы свергнуть его с престола. Правительство Керенского базировалось лишь на кабинете министров; поэтому оказалось достаточным, для того, чтобы его свергнуть—окружить министров в Зимнем дворце. Советское же правительство пустило, наоборот, корни в стране в виде тысяч местных Советов и представляет собою организм, состоящий из многочисленных клеточек. Для того, чтобы уничтожить советское правительство, необходимо уничтожить все эти отдельные организации. А они ни в какой мере не обнаруживали склонности дать себя уничтожить.

Когда по всему Дальнему Востоку зазвучал тревожный сигнал, крестьяне и рабочие собрались, чтобы дать отпор оккупантам. Они сражались с мужеством отчаяния, отстаивая каждую пядь земли. В двух городах к северу от Владивостока при создании Советов ни один человек не был убит. При свержении этих Советов были убиты тысячи людей, и не только госпитали, но и сараи и товарные склады были переполнены ранеными. Вместо «небольшой военной прогулки по Сибири» интервенционисты очутились перед тяжелой кровавой борьбой.

Владивостокская буржуазия была поражена упорным сопротивлением, которое встретила интервенция. Доведенная этим до бешенства, она яростно набросилась на всех сторонников Советов.

Мой арест.

У меня не было желания стать мучеником. Поэтому я избегал главных улиц и выходил или переодетый, или под покровом ночной темноты. Я стал отверженным, но это меня мало беспокоило. Я тревожился лишь об участи рукописи моей книги о России. Она находилась в здании Совета, в котором ныне помещались главные учреждения нового белого правительства.

В конце концов я пришел к заключению, что лучше всего будет дерзко явиться в лагерь неприятеля и потребовать свою рукопись. Я так и поступил и попал прямо в руки начальника контрразведки.

— Я вас уже давно разыскиваю, благодарю вас, что сами пришли,—заметил он с иронической вежливостью.—Теперь вы останетесь у нас.

Таким образом я стал пленником контр-революции.

К счастью среди американцев оказался мой старый товарищ по классу Фред Гудсель. Он поручился за меня и добился моего освобождения, но выручить мою рукопись ему не удалось.

Выйдя из-под ареста, я решился возвратиться на свою квартиру. Какой-то шпион очевидно проследил за мной и протелефонировал белым. Когда я был занят приведением в порядок своих бумаг, подкатил с шумом автомобиль. Из него выскочило шесть белогвардейцев; они бросились в мою комнату, приставили револьверы к моему лицу и зарычали: «Теперь ты в наших руках! Теперь ты от нас не уйдешь!».

— Но я ведь был арестован и затем освобожден,—протестовал я.

— Мы тебя не будем арестовывать, сволочь проклятая! Мы тебя убьем!—рычали белогвардейцы.

Вдруг снаружи раздался сильный шум. Подкатил другой автомобиль. Опять заколотили кулаками в дверь. В комнату вошел капитан с четырьмя вооруженными солдатами; это были чехи, заявившие, что они имеют приказ о моем аресте.

— Но ведь мы его уже арестовали,—сказали белые.

— Нет,—ответили чехи,—мы его арестуем.

Было очень приятно стать внезапно столь важной опасной персоной. Один лишь вид штыков немного умерял во мне сознание моего значения. Этих штыков было слишком уж много, и эти люди по всем признакам были действительно не прочь пустить их в ход. Казалось весьма возможным, что я из пленного превращусь через небольшой промежуток времени в труп. К счастью, чешский капитан не был лишен чувства юмора.

— Что же вы предпочитаете?—спросил он с глубоким поклоном.—Чьим пленным вы предпочитаете быть?

— Вашим пленным—чехов,—ответил я.

С великолепным «noblesse oblige» капитан повернулся в сторону белых.

— Милостивые государи, он принадлежит вам, — заявил он великодушно.

Своих подчиненных он успокоил тем, что напустил их на мои бумаги (впоследствии эти бумаги были переданы американскому консулу).

Белые втолкнули меня в автомобиль, и я поехал окруженный штыками, с двумя револьверами, приставленными к груди, в качестве пленного белых, через город, в котором я недавно был гостем Совета.

Белый штаб был окружен возбужденною буржуазной толпою, приветствовавшей привод каждой новой жертвы злобным рычанием и криком: «Повесить его!». Меня протолкали сквозь издевающуюся толпу в дом, и мне так повезло, что я попал прямо в руки своего прежнего знакомого Сквирского. Тот дал мне знак не узнавать его и спустя немного времени добился моего вторичного освобождения. На этот раз я оставил здание, вооруженный документом, на котором было написано: «Граждане. Просим вас не арестовывать американца Вильямса».

На родину.

Этот документ, однако, представлял собою также слабую защиту, ибо черная ненависть к Совету росла с каждым днем. Я себя чувствовал как затравленный зверь и в течение десяти дней потерял ровно такое же количество фунтов.

— Вы каждую минуту должны быть готовы проститься с жизнью,—заявил мне американский вице-консул,—две партии поклялись застрелить вас.

— Я бы с удовольствием уехал,—ответил я,—но у меня нет денег.

Он сознавал мое тяжелое положение, но считал, что это его не касается.

О моем безвыходном положении узнали рабочие, и они пришли мне на помощь. Им самим приходилось плохо, но все же они собрали тысячу рублей. Арестованные передали контрабандным путем из тюрьмы другую тысячу. Теперь я мог бы уехать, но японский консул отказывался дать мне визу. Он представил мне целый список моих преступлений, из которых главными были мои статьи против интервенции, помещенные мною в советских газетах. Японскому министерству иностранных дел эти статьи не понравились. Они отдали по телеграфу распоряжение о том, что мое присутствие ни в коем случае не должно осквернить священную почву Японии. В конце концов мой паспорт визировали китайцы и я взял билет на береговой пароход, отходивший в Шанхай.

Последнюю ночь я провел с товарищем в одном тайном убежище в холмах. Совет не был уничтожен, он ушел лишь в подполье. Избежавшие ареста вожди собирались нелегально и организовывали массы. На прощанье они пропели мне песню английских транспортных рабочих, которой научил их Джером:

«Удержите крепость,
Мы идем на помощь...
И мы победим».

Эти слова звучали еще в моих ушах, когда я 11-го июля проплыл по Великому океану на пароходе мимо военных судов Антанты. В Шанхае я был вынужден поджариваться на солнце в течение месяца, пока смог выехать в Америку. В конце концов я выехал, и, спустя восемь недель после того, как я оставил Золотой Рог Дальнего Востока, я увидел Золотые Ворота Калифорнии.

Когда наш пароход вошел в порт Сан-Франциско, к нему подплыл катер, из которого на палубу парохода поднялись офицеры в морской форме. Это были сотрудники морской контр-разведки, явившиеся поздравить меня с благополучным возвращением на родину. Блудный сын, возвращающийся на родину после долгой разгульной жизни в чужих краях, не мог бы пожелать более теплого приема. Их попечения о моем благосостоянии были в достаточной степени неприятны. Они засыпали меня знаками внимания и настояли на том, чтобы сопровождать меня на мою квар-

тиру и позаботиться о моем багаже. Они обнаружили большой интерес ко всему происходившему в Советской России и для того, чтобы доказать это фактами, они отобрали у меня все прокламации, все записные книжки и вообще все мои бумаги. Опасаясь, что какой-нибудь клочек бумаги ускользнет от них, они обыскали мои карманы, ботинки, засунули пальцы за ленту на шляпе и за подкладку моего пиджака. После этого они передали меня другим властям, которые попытались порыться в моих идеях.

— Итак, г. Вильямс, вы социалист?—спросил один из инквизиторов.—Вы также и анархист, не правда ли?

Я ответил отрицательно на последнее обвинение.

— Каких же вы еще придерживаетесь убеждений?

— Я придерживаюсь альтруизма, оптимизма и прагматизма,—заявил я.

Он занес все это в точности в записную книжку— в качестве новых редкостных и опасных русских учений, импортируемых мною в Америку.

После трех дней, проведенных мною в этом приятном обществе, я был отправлен в Вашингтон.

ГЛАВА XX.

ВЗГЛЯД НАЗАД.

Не революционеры осуществили русскую революцию, хотя огромное их количество в течение долгих лет делало все возможное, чтобы осуществить ее. В течение целого столетия жестокое угнетение народа глубоко волновало души одаренных и умных мужчин и женщин. Оно сделало их агитаторами. Они пошли в села, на фабрики, в беднейшие кварталы городов и призывали:

«Как росу стряхните цепи,
Что на вас надели, сонных.
Вас так много, их так мало».

Но народ не восставал, он как будто даже и не слыхал призывов. Но затем пришел лучший из агитаторов—голод. Голод, явившийся следствием экономической катастрофы и войны, заставил выступить косные массы. Они атаковали насквозь прогнившее старое здание, и оно рухнуло. Стихийные безличные силы осуществили то, что не удалось осуществить сознательным усилиям людей.

Конечно и революционеры сыграли свою роль. Но они вызвали революцию, но благодаря им она восторжествовала. Путем долгих усилий им удалось подготовить кадры мужчин и женщин, подготовленных к анализу действительности, имеющих программу действий и обладающих достаточной боевой энергией для проведения ее. Таких людей были миллионы, мы не знаем их точного числа. Да число тут и не имеет значения, важен тот факт, что они были организованы для того, чтобы взять в свои руки обанкротившийся старый строй и что они немедленно образовали спасательные кадры революции.

Ядром явились коммунисты. Г. Г. Уэльс писал: «Когда страна находилась в состоянии невообразимого хаоса, управление ею взяло на себя правительство, опиравшееся на поддержку партии, насчитывавшей около 150.000 приверженцев... Это правительство положило конец грабежам, водворило порядок и безопасность в истощенных городах, выработало примитивную распределительную карточную систему; оно было единственно возможным правительством... единственное, которое имело определенную цель, единственное, которое осуществляло принцип солидарности».

В течение четырех лет Россией правят коммунисты. Каковы же результаты их управления?

«Репрессии, тирания, насилия», кричат враги. «Они уничтожили свободу слова, свободу печати, свободу собраний. Они ввели всеобщую воинскую и трудовую повинности. Они показали себя некомпетентными в управлении страною, неспособными в управлении промышленностью. Они подчинили Советы Коммунистической Партии. Они унизили коммунистический идеал, изменили свою программу и пошли на компромиссы с капиталистами».

Многие из этих обвинений преувеличены, многие вытекают из непонимания положения. Некоторые основательны, и все друзья Советской власти скорбят об этом. Враги же использовали их для агитации против Советов во всем мире.

Когда меня одолевает искушение присоединиться к скорбящим или забрасывающим Советы грязью, то мои мысли обращаются к беседе, происходившей во владивостокском порту в июне 1918 года. Полковник Робинс, председатель американского Красного Креста, беседовал с Константином Сухановым, председателем Совета.

— Если союзники не придут на помощь, то сколько времени продержится Совет?

Суханов печально покачал головою.

— Шесть недель?—спросил Робинс.

— Да, трудно будет продержаться дольше, — ответил Суханов.

Робинс обратился с тем же вопросом ко мне. Я также сомневался в благоприятном исходе.

Мы принадлежали к числу сочувствующих. Мы сознавали силу и жизненность Советов. Но мы видели также и те колоссальные препятствия, которые им предстояло преодолеть. Все казалось было против них.

Силы, выступившие против большевиков.

Прежде всего Совет очутился в тех же условиях, которые погубили правительства царя и Керенского—он очутился перед промышленной и транспортной разрухой, перед голодом и обнищанием масс.

Но кроме того перед Советом возникли сотни других новых затруднений: дезертирование интеллигенции, забастовка старых чиновников, саботаж техников, отлучение от церкви, блокада союзников. Совет был отрезан от хлебородной Украины, от бакинских нефтяных источников, от угольных копей Донецкого бассейна, от туркестанского хлопка. Был огромный недостаток в продовольственных продуктах и топливе. «Теперь,—говорили враги,—костлявая рука голода схватит народ за горло и заставит его опомниться». Для того, чтобы воспрепятствовать доставке продовольствия в города, агенты империалистов взорвали железнодорожные мосты и портили локомотивы.

Перечисленных выше затруднений более чем достаточно, чтобы сломить самые сильные души. Но помимо них появились новые препятствия. Капиталистическая печать всего мира мобилизовалась против большевиков. Их изображали в виде «наемников кайзера», «фанатиков с налитыми кровью глазами», «хладнокровных убийц», «длиннобородых мерзавцев, днем убивающих людей, а ночью справляющих оргии в Кремле», «осквернителей искусства и культуры», «изнасилователей». В качестве лучшего доказательства их преступности был сфабрикован «декрет о национализации женщин», о котором раструбили на весь мир. Газеты обращались к читающей публике с призывом перенести свою ненависть с «гуннов» на большевиков.

В то время, как за границей ненависть к большевикам, как к «врагам цивилизации», становилась все сильнее, эти же самые большевики напрягали все свои силы на то, чтобы спасти в России цивилизацию от полного разгрома. Рансом, наблюдавший их за этой колоссальной нечеловеческой работой, писал:

«Никто не утверждает, что большевики ангелы. Я хочу лишь, чтобы люди разглядели сквозь окружающий их туман лжи тот идеал, ради которого эта молодежь борется тем единственным способом, который находится в их распоряжении. Если их ждет поражение, то они снесут его с чистой совестью, с сознанием

исполненного долга, ибо они стремились к осуществлению идеала, который их переживет. И даже в случае неудачи, они впишут в историю человечества страницу, которая будет более поразительна, чем какая-либо другая... Когда в позднейшие времена люди будут читать эту страницу, то они будут о вашей и моей стране судить по тому, помогала ли она или препятствовала писать эту страницу».

Этот призыв остался, однако, безрезультатным.

Подобно тому, как некогда об'единились монархические государства Европы, чтобы задушить идеи, возвещенные миру французскою революциею, подобно этому теперь об'единились капиталисты Европы и Америки, чтобы задушить идеи, возвещенные миру русскою революциею. К голодным, замерзающим, гибнущим от эпидемий русским плыли не дружественные суда, нагруженные книгами, инструментами, учителями, инженерами, а враждебные военные суда, нагруженные солдатами, офицерами, пушками и ядовитыми газами. На стратегических пунктах русского берега были произведены высадки. Монархисты, помещики и черносотенцы стекались к этим центрам. Организовывались новые белые армии, которые тренировались и вооружались, на что тратились сотни миллионов долларов. Интервенционисты начали поход на Москву с целью вонзить нож в сердце революции.

С востока надвинулись орды Колчака, шедшие через Сибирь по следам чехов. С запада надвигались финляндская, латышская и литовская армии. С севера, из лесов и со снежных полей двигались англичане, французы и американцы, и из южных портов надвигались танки, аэропланы и деникинские батальоны смерти. Со всех сторон шли враги. Юденич из эстонских болот, петлюровские легионы из Польши, врангелевская кавалерия из Крыма.

Кольцо из миллионов штыков все теснее смыкалось вокруг революции. Она шаталась под обрушившимися на нее ударами, но сердце ее оставалось бесстрашным. Если ей суждено умереть, она умрет в бою.

Революция борется за свою жизнь.

По уставшим от войны селам и обедневшим городам опять раздалась барабанная дробь, призывавшая к оружию. Изношенные ткацкие станки и машины опять были вынуждены поставлять шинели и оружие. Пришедшие в очень плохое состояние железные

Белые расстреливают пленного красноармейца, признавшего себя коммунистом.

дороги были снова нагружены солдатами и пушками. Революция, несмотря на истощенность страны, выставила армию в пять миллионов человек, и Красная армия выступила в поход.

В четырехстах милях от Москвы она бросилась на Колчака и погнала его охваченные паническим страхом войска назад за те четыре тысячи миль, которые они прошли через Сибирь. В покрытых снегом сосновых лесах севера, скользя по снегу на лыжах, красные столкнулись с союзниками, погнали их обратно к Архангельску, и заставили сесть на суда и уплыть обратно домой по Белому морю. У Тулы, этой кузницы России, «в красных огнях которой выковывается красная сталь штыков непобедимой Красной армии», эта армия остановила Деникина. Он должен был бежать назад до самого Черного моря, где спасся на английском крейсере.

Кавалерия Буденного, мчась безостановочно день и ночь по украинским степям, внезапно напала на фланги польской армии и, превратив победоносное наступление легионеров в паническое бегство, дошла на ворот Варшавы. Врангель был разбит в Крыму, и в то время, как ударные части северной армии штурмовали крепости, другие части этой армии наступали по замерзшему Азовскому морю, и барону пришлось убежать в Турцию. В окрестностях Петрограда, откуда видны его купола и башни, была уничтожена армия Юденича, и отсюда были прогнаны назад за их границы армии окраинных государств; белые были совершенно разбиты также и в Сибири. Революция победила все контр-революционное окружившее ее кольцо.

Контр-революционеры, однако, были разбиты не только посредством советских батальонов, но также благодаря идее, воплощением которой являлись эти армии революции.

Ибо, это были войска с новыми красными знаменами, на которых был начертан лозунг нового мира. Они вступали в бой с песнями справедливости и братства. Они обращались с пленными как с введенными в заблуждение братьями. Они кормили их, перевязывали им раны и посылали их обратно в их лагеря для того, чтобы они там рассказали о гостеприимстве большевиков. Они бомбардировали лагерь союзников вопросами:

«Зачем вы пришли в Россию, солдаты Антанты?», «Почему французские и английские рабочие должны убивать своих русских товарищей рабочих?», «Разве вы хотите уничтожить нашу

Заключенные в поезде смерти.

рабочую республику?», «Разве вы хотите посадить обратно на трон царя?», «Вы сражаетесь за французских банкиров, за английских земельных хищников, за американских империалистов?», «Почему вы хотите в их интересах проливать кровь?», «Почему вы не возвращаетесь домой?».

Красные солдаты выкрикивали эти фразы из окопов. Красные часовые с поднятыми вверх руками бросались вперед и громким голосом задавали эти вопросы. Красные аэропланы бросали их вниз из облаков.

Союзнические войска раздумывали над этими вопросами и начинали колебаться. Их моральное состояние ослабело, они сражались против желания и, наконец, начали бунтовать. Тысячами, целыми батальонами и санитарными отрядами стали переходить белые к красным. Одно за другим распались войска контр-революции, растаяли как снег русской весной. Огромное стальное кольцо, которым была сжата революция со всех сторон, было разбито в куски.

Революция восторжествовала. Советы были спасены. Но, ценою каких ужасных жертв!

Вред, нанесенный интервенцией.

«В течение трех лет,—сказал Ленин,—вся наша энергия была посвящена задачам войны». Все богатство страны уходило на войну. Поля оставались необработанными, машины оставались неиспользованными. Недостаток в топливе вызвал приостановку предприятий. Сырое дерево портило локомотивные топки. Вражеские армии при отступлении разрушали железнодорожный путь и взрывали мосты и вокзалы, сжигали хлеб на полях и целые деревни.

Контр-революционеры при своем бегстве справляли настоящие оргии разрушения. Посредством динамита и поджогов они опустошили страну и оставили после себя руины и пепел.

Но война привела за собою также и другие неизбежные неприятные стороны: строгую цензуру, произвольные аресты, военные суды. Мероприятия, в которых обвиняли коммунистов, были большей частью обычные военные мероприятия; тем не менее они похоронили многие идеалы революции.

К этому надо прибавить потери в людях. На фронтах умирало очень много людей; списки умерших в госпиталях были потрясающе велики. Из-за блокады нельзя было достать лекарств, перевязочных средств и хирургических инструментов. Поэтому приходилось ампутировать члены тела без усыпительных средств и перевязывать раны газетной бумагой. Гангрена, тиф и холера свирепствовали в войсках беспрепятственно.

Революция могла перенести потерю в людях, ибо Россия огромная страна. Но тяжелее ей было перенести потерю мозговой и психической энергии, убийство ее руководителей—коммунистов. На них лежала вся тяжесть борьбы. Из них образовывались ударные отряды. Они бросались в открывавшиеся на поле битвы прорехи, чтобы поддержать дух поколебленных рядов. Когда их брали в плен, то это означало для них верную смерть. В трехлетней войне половина молодых коммунистов России была перебита.

Простое перечисление мертвых ничего не означает, так как статистика, это—только бесчувственный холодный символ. Пусть читатель вспомнит о молодых людях, с которыми он познакомился в этой книге. Они были в одно и то же время мечтателями и упорными работниками, идеалистами и суровыми реалистами, они были цветом революции, воплощением ее динамического духа. Кажется, почти невероятным чтобы революция могла без них развиваться дальше. И, однако, это так, ибо они мертвы. Все почти, о ком я упоминал в этой книге, лежат в могиле. Вот как умерли некоторые из них.

Володарский—был убит в результате заговора социалистов-революционеров против всех советских вождей.

Нейбут—казнен на колчаковском фронте.

Янышев—пронзен штыком белогвардейца на врангелевском фронте.

Восков—умер от тифа на деникинском фронте.

Тунганоги—убит за своим письменным столом выстрелом белогвардейца.

Уткин—вытащен из автомобиля и убит выстрелом из револьвера.

Суханов—отведен рано утром в лес и там убит ружейными прикладами.

Мельников—вытащен из тюрьмы, ранен выстрелом и затем забит на смерть нагайками.

«Их пытали, побивали камнями, распиливали на части, и они удалились в пустыни и горы, в подземелья и пещеры».

Это было хладнокровное, расчитанное убийство вождей революции, избиение будущих строителей. Это было для России незаменимою потерею, — ибо это были люди, которые могли устоять против растлевающего влияния власти. Это были люди, которые сумеди бы жить так же смело, как они умерли.

Они пошли на смерть для того, чтобы жила революция. И она живет. Хотя и изуродованная, пошедшая на компромиссы, русская революция все же победоносно выходит из долгих испытаний—голода, эпидемий, блокады и войны.

Стоит ли революция этих жертв? Вот ее несомненные прочные результаты:

1. Революция разрушила царский государственный аппарат до основания.

2. Она передала все земельные владения царя и его родственников, а также помещичьи и монастырские земли народу.

3. Она национализировала все главные отрасли промышленности и положила начало электрификации России.

4. Она провела через Советы около миллиона рабочих и крестьян и дала им возможность приобрести непосредственный опыт в вопросах управления. Она организовала 8.000.000 рабочих в профессиональных союзах. Она открыла десятки тысяч новых школ, библиотек и театров и дала массам представление о чудесах науки и искусства.

5. Она разбила власть прошлого над широкими массами народа и превратила потенциальную энергию, дремавшую в них, в кинетическую. Фаталистическое изречение: «так было, так будет» заменилось другим: «так было, но так больше не будет».

6. Она обеспечила право на самоопределение всем национальностям, которые раньше угнетались Российскою империею. Она предоставила им право и возможность развития своего собственного языка, литературы и собственных учреждений. Она обращалась с Персией, Китаем, Афганистаном и другими «отсталыми» странами, т.-е. «странами, обладающими большими естественными богатствами и малыми флотилиями», как с равными.

7. Она не на словах только призывала к «открытой дипломатии», но проводила ее в действительности.

8. Она проложила путь новому обществу и произвела в колоссальном масштабе неоценимые лабораторные социалистические опыты. Она оживила веру и дух мирового пролетариата в его борьбе за новый социальный строй.

Мудрые люди утверждают, что эти результаты могли быть достигнуты лучшим путем. Но ведь и реформация, независимость Америки, освобождение рабов могли бы, как будто быть проведены более приятным и менее насильственным способом. Но история не движется этим путем. И лишь глупые люди вступают в спор с историей.

БИБЛИОТЕКА

ПРИЛОЖЕНИЕ.

I.

СМЕРТЬ КРАСНОГО ПОЛКА.

(Интервью г. Н. Шиффрина с редактором военной газеты контр-революционной северной армии, появившееся в антибольшевистской газете «Der Tag» в номере от 7 сентября 1919 г.)

«Как вам, вероятно, известно, большевики изменили названия старых полков. Солдаты московских полков носят на своих погонах (?) буквы К. Л.—инициалы Карла Либкнехта. Мы взяли в плен один такой полк и предали его военному суду. Судебный процесс у белых весьма скорый. Каждый солдат подвергается допросу и, если он сознается в том, что он коммунист, его немедленно приговаривают к смерти через повешение или расстреляние. Красные знают об этом очень хорошо.

Поручик К. подошел к взятому в плен полку и сказал: «Пусть те из вас, которые являются истинными коммунистами, покажут свое мужество и выступят вперед...». Наступает тягостная, мучительная пауза... Затем выступает вперед больше половины полка. Их приговаривают к смертной казни через расстреляние. Но перед казнью они должны вырыть для себя могилы.

Наступили сумерки. Воздух напоен ароматом северных цветов. Вдали виднеется купол деревенской церкви, окруженный дремлющими тополями. Крестьяне, женщины, дети и солдаты теснятся на поле и прижимаются друг к другу, подобно овечьему стаду во время бури.

Осужденным отдается приказ снять с себя одежду. Фронт беден, белые нуждаются в одежде. Пленные должны раздеваться перед казнью для того, чтобы их одежда не была запачкана кровью или не была порвана пулями. Медленно снимают коммунисты свои рубахи, связывают в узел всю свою одежду и откладывают ее в сторону.

Теперь они стоят, дрожа от холода. В лунном сиянии их кожа кажется особенно белой, почти прозрачной Каждому из них дается в руки заступ, и они начинают рыть большие общие могилы. Падает роса, подобно мелкому дождю, и во всех глазах блестит слеза. Нагие коммунисты роют свои могилы. Становится все темнее, виден лишь хаос беспрерывно движущихся тел. Трудно различить голых от одетых.

Наконец ямы стали достаточно глубокими. Осужденные испускают вздох облегчения. Многие бросаются на сырую мягкую землю отдохнуть. Последний отдых. Лишь теперь я замечаю, что многие из них носят перевязки на ногах. Они были ранены в бою.

Поручик К. обращается к ним с предложением высказать свои последние пожелания. Двое из них снимают кольца с пальцев и передают их поручику. Другие не имеют никаких желаний, хотя у них имеется свой очаг, жена и дети. Я спрашиваю одного из них: «Что вас сделало коммунистом?».

Он отвечает: «Жизнь проклятая. Свет нуждается в счастьи».

Отряд, который должен привести в исполнение смертный приговор, стоит наготове. Нагие коммунисты становятся тесно друг возле друга и образуют в лунном сиянии одну белую стену... Команда, молния в ночи, залп выстрелов... Коммунисты все еще стоят на ногах. Второй залп. Пули попадают в сердце, кровь бьет ключом. Некоторые, однако, только лишь легко ранены. И в ту секунду, которая проходит до нового залпа, я слышу стоны. Залпы следуют за залпами. Продолжающие еще жить кричат: «Эй вы, цельтесь же лучше!». Один показывает на сердце: «Цельтесь сюда!».

Наконец все мертвы. Некоторые лежат у краев могил, другие упали внутрь их. Все кончено. Ничто не нарушает спокойствия.

II.

ПОЕЗД СМЕРТИ.

Нижеследующее является извлечением из дневника г. Рудольфа Бэкли, бывшего раньше банкиром в Гонолулу, а затем деятелем Красного Креста. В нем имеются разоблачения относительно положения вещей, создавшегося в результате интервенции союзников в Сибири и жестокостей белых в отношении большевиков и других совершенно неповинных и ни к чему не причастных людей. Сокращенная статья взята из «Журнала Американского Красного Креста» от апреля 1919 г. Редакция делает следующее примечание: «Требования приличия заставили нас выпустить многое, что невозможно передать в печати».

***

«18 ноября 1918 г. Я нахожусь в Сибири, в Никольске-Уссурийском. В течение последних двух дней я видел достаточно несчастья, чтобы наполнить целую жизнь. Я попытаюсь передать, как смогу, то, что я видел.

Через окна товарных вагонов я видел сорок животных, бывших некогда мужчинами, женщинами и детьми. На меня смотрели лица, в которых нельзя было найти ничего человеческого. В их глазах виднелись безумие и ужас, и на чертах лиц этих людей лежала печать смерти.

Я видел мертвых, лежавших у шоссе, и 40—50 человек, дравшихся, подобно собакам, из-за куска хлеба, брошенного им сострадательными бедняками Никольска...

Этот «поезд смерти», ибо под этим именем он известен во всей Восточной Сибири, оставил шесть недель тому назад в сопровождении русских офицеров Самару. Он вез 2.100 всякого рода пленных.

По дороге 800 из этих несчастных умерли от голода, болезней и грязи. Мы видели вчера—поскольку мы могли сосчитать—1.325 мужчин, женщин и детей, втиснутых в эти ужасные вагоны.

То, что я сейчас скажу, покажется преступным, но мне пришла мысль, что этих людей можно было бы безболезненно убить ядом на 3 доллара или пулями на 10 долларов; вместо этого поезд, состоящий из пятидесяти вагонов, раз'езжает неделями туда и обратно, перегоняется со станции на станцию и ежедневно из вагонов выносят несколько трупов. Большинство пленных в течение пяти недель не меняло одежды. В вагоне, имеющем 25 футов в длину и 11 футов в ширину, находится 35—40 человек; двери открываются лишь для того, чтобы убрать трупы или выпустить женщину, для которой лучше было бы быть мертвой, Ночью я влез с моим карманным фонариком в один из этих вагонов. Там я увидел полуголых, покрытых насекомыми, агонизирующих людей, другие находились в полубесчувственном состоянии, некоторые протягивали с плаксивыми гримасами идиотов руку за папиросами или копейками и весело визжали подобно обезьянам, когда им что-либо давали.

Русский офицер, командовавший этим поездом, дал совершенно несостоятельные об'яснения на вопрос, почему эти люди подвергнуты таким ужасным лишениям и надругательствам. Он пытается рассказать по возможности более правдоподобную историю. Часто по нескольку дней под ряд не было хлеба. И если бы не бедные крестьяне, дающие со слезами на глазах все, без чего они могут обойтись, то пленные оставались бы совершенно без пищи.

Описать судьбу несчастных, заключенных здесь женщин невозможно. С ними, правда, обращаются лучше, чем с мужчинами, но какой ценой это им достается! В этом вагоне находится 11 женщин. На веревке висят четыре пары чулок, принадлежащих этим 11 женщинам. Пол покрыт грязью и всякими отбросами. Нечем их вымести, нет ни метлы, ни ведра. Женщины в течение ряда недель не снимали с себя одежды. Вдоль стен вагона шли доски в два яруса; на них спят ночью заключенные, а в течение дня они сидят на них, сгорбившись. Если имеется какая-либо пища для заключенных, то сначала ее получают женщины; они находятся в лучшем физическом состоянии, чем мужчины.

Со времени нашего прибытия к поезду прицеплен вагон-кухня, в котором имеется большой железный котел. Часовые утверждают, будто пленные получили вчера суп. Один котел на 1.325 человек! И суп подается в грязной кастрюле через окно, величиною в 1 кв. фут. Вчера одна из женщин была взята из вагона русским офицером. Он приведет ее, когда поезд должен будет двинуться в путь... Когда мы шли вдоль поезда, человек из одного вагона окликнул нас и сообщил часовым, что в их вагоне имеются мертвые. Мы настояли на том, чтобы открыли дверь, и увидели тогда следующее: перед дверью лежал труп мальчика. Он был одет в легкую, совершенно порванную рубаху, так что грудь и руки оставались совершенно голыми. Вместо брюк на нем был кусок мешка, при чем ноги были обнажены. Какие мучительные страдания должен был вынести этот мальчик в сибирские холода, раньше, чем он умер от голода, грязи и холода!

Между тем «дипломатического» характера соображения мешают нам взять на себя попечение о поезде.

Мы влезли в вагон и увидели там еще двух мертвецов, лежавших на нарах между живыми. Все почти мужчины имели ввалившиеся глаза, они были крайне истощены и полураздеты. Их мучил ужасный кашель. На них лежала печать смерти. Если им не будет в ближайшем будущем оказана помощь, то они, несомненно, умрут. Мы заглянули лишь в несколько вагонов; у одного окошка мы увидели маленькую, одиннадцатилетнюю девочку. Она рассказала нам, что ее отец был красногвардейцем. Поэтому в вагон попали отец, мать и дочь, и все они должны будут умереть. Д-р Росетт,—один из лучших людей, которых мне приходилось встречать. Когда я видел, как он взбирался в вагоны, беседовал с этими несчастными и пытался их утешить, я вспоминал о добром враче, который приходил на помощь парализованным, слепым и калекам.

...Странная вещь—все эти люди смотрят на нас невыразимо печальными глазами, но совершенно безо всякой горечи. Их страдания как будто уничтожили в них способность к выражению гнева. Я по крайней мере десять раз обошел весь поезд, и никогда не заметил на лицах этих бедных, замученных безгласных созданий выражения ненависти или гнева.

Вчера вечером я посетил госпиталь. Четырнадцать человек лежали на неописуемо грязной соломе. Трое из них повернули в мою сторону тупой взор, распознали знак Красного Креста и бросились на колени. Один из них, шестидесятилетний старик, имел на шее серебряный крестик. Они всхлипывали беззвучно, мучительно и кое-как выговорили: «Пусть благословит вас господь и Иисус Христос и воздаст вам за то, что вы сделали для нас». Мы почувствовали себя щедро вознагражденными этими словами за всю работу последних дней.

В течение этих дней я не раздевался, не имел времени ни умыться, ни побриться, и вечером, занесши в дневник свои впечатления, я падал совершенно без сил на постель.

Нет смысла скрывать, что почти все эти люди несомненно погибнут, так как, как только поезд отправится дальше, в нем будут царить старые порядки и опять ежедневно из него будут выбрасываться свежие трупы».

Пророчество г. Бэкли о том, что поезд смерти останется поездом смерти, оправдалось. Поезд проехал всю сибирскую железную дорогу. Сначала на запад, потом на восток, туда и обратно; его гнали из города в город, повсюду власти отказывались принять пленных в свой город или оставить у себя этот поезд.

Днем и ночью раз'езжал этот поезд. Недели превращались в месяцы, и число несчастных пленных все уменьшалось; беспощадная смерть собирала свою жестокую дань.

(Это был лишь один из многих поездов смерти, которые были разосланы во все стороны антибольшевистскими правительствами.)

СОДЕРЖАНИЕ.

стр.

Часть I.

ТВОРЦЫ РЕВОЛЮЦИИ.

Среди рабочих, крестьян и бойцов.

Глава I. Большевики и город 7
„ II. Петроград демонстрирует 17
„ III. Антракт в деревне 27
„ IV. Генерал на белом коне 42
„ V. Товарищи моряки 49

Часть II.

РЕВОЛЮЦИЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДНИ.

Среди белых и красных.

Глава VI. „Вся власть Советам“ 61
„ VII. Седьмое ноября—новая историческая дата 67
„ VIII. Ограбление Зимнего дворца 72
„ IX. Красная гвардия, белая гвардия и черная сотня 80
„ X. Прощение или смерть белым? 89
„ XI. Классовая война 105
„ XII. Созидание нового строя 116

Часть III.

РАЗМАХ РЕВОЛЮЦИИ.

В экспрессе через Сибирь.

Глава XIII. Степи восстают 127
„ XIV. Красные каторжники Черемхова 138
„ XV. Владивостокский Совет и его вожди 146
„ XVI. Местный Совет за работой 153

Часть IV.

ТОРЖЕСТВО РЕВОЛЮЦИИ.

Советы против капиталистического мира.

Глава XVII. Союзники уничтожают Совет 165
„ XVIII. Красные похороны 174
„ XIX. От'езд 182
„ XX. Взгляд назад 187

Приложение 199

Политические процессы 60-х г.г. Материалы подготовлены к печати В. П. Алексеевым. Под редакцией В. П. Козьмина. Ц. 80 к.

Троцкий, Л.—1905 г. Ц. 2 р.

Терской, Ал.—В стране произвола и бесправия. Русские в Болгарии до и после переворота. Ц. 80 к.

Союзная интервенция в Сибири 1918—1919 г. Записки начальника английского экспедицион. отряда полковн. Джона Уорда. С предисл. И. Майского. Ц. 1 р. 20 к.

Федосеев, Н.—Один из пионеров революционного марксизма в России (сборник воспоминаний). Ц. 40 к.

Фишер, А.—В России и Англии. Ц. 20 к.

Чернин, О.—В дни мировой войны. Ц. 1 р. 25 к.

Шелгунов, Н. В.—Воспоминания. Ред. вступ. статья и примеч. А. А. Шилова. Ц. 1 р. 75 к.

Шляпников, А.—Канун 1917 года. Воспоминания и документы о рабочем движении и революционном подполье за 1914—1916 г.г. Ч. I. Ц. 1 р. 20 к. Ч. II. Ц. 85 к.

Эрцбергер, М.—Германия и Антанта Мемуары. Пер. с немецк. Е. Федотовой. Вводная статья В. Кряжина „Крушение германского империализма". Ц. 1 р. 50 к.

Цены обозначены в червонцах.

Торговый сектор Государственного Издательства.

МОСКВА, Ильинка, Биржевая площ., Богоявленский пер., 4. Телеф. 47-35.

ЛЕНИНГРАД, проспект 25 Октября (Невский), 28. Телеф. 5-49-32.

ОТДЕЛЕНИЯ:

Вологда, площадь Свободы; **Воронеж**, проспект Революции, 1-й д. Советов; **Казань**, Гостинодворская, Гостиный двор; **Киев**, Крещатик, 38; **Кострома**, Советская, 11; **Краснодар**, Красная, 35; **Нижний-Новгород**, улица Я. Свердлова, 12; **Одесса**, ул. Лассаля, 12; **Пенза**, Интернациональная, 39/43; **Пятигорск**, Советский пр., 48; **Ростов н/Дону**, ул. Фридр. Энгельса, 106; **Саратов**, ул. Республики, 42; **Тамбов**, Коммунальная, 14; **Тифлис**, просп. Руставели, 16; **Харьков**, Московская, 20.

МАГАЗИНЫ:

МОСКВА: 1) Советская пл. (под гост. б. „Дрезден"), тел. 1-28-94; 2) Моховая, 17 (под гост. б. „Националь"), тел. 1-35-50; 3) ул. Герцена (Б. Никитская, 13 (здан. консерватории), тел. 2-64-95; 4) Никольская ул., 3, тел. 49-51; 5) Серпуховская площадь, 1/43, тел. 3-79-65; 6) Кузнецкий мост, 12, телеф 1-01-35; 7) Покровка, Лялин пер., 11, тел. 81-94; 8) М. Харитоньевский пер., 4, тел. 1-81-84; 9) Ильинка Богоявленский пер., 4, телеф. 1-91-49.

ЛЕНИНГРАД: 1) проспект 25 Октября (Невский), 28; 2) ул. Володарского (Литейный проспект), 21; 3) проспект 25 Октября (Невский), 13.

Все новости о книгах—в бюллетенях Торгсектора. Очередной номер.